

СТИХОТВОРЕНИЯ

ОТ АВТОРА

Мне кажется, в детстве я понимала язык животных – вся последующая жизнь стала попыткой постижения языка человеческого. Мои литературные опыты – приглашение в мир, который остается за гранью обыденного, в котором слова – лишь самое простое средство.

КОШКА ХВОЙНОЙ, КОЛЮЧЕЙ ПОРОДЫ

*«...И в ту же минуту странный треск
раздался у статуи внутри, словно
что-то разорвалось. Это раскололось
оловянное сердце Принца. Воистину
был жестокий мороз...»*

Оскар Уайльд, «Счастливый принц»

Зима, как тюрьма,
как жестокость природы,
кошка хвойной, колючей породы —
твой расширенный болью
зрачок незрячий
приласкает, железных когтей
не пряча.
Сердце твое оловянное
звонко расколет
надвое.



* * *

Не щемит истаявшее сердце.
В пепле сентября нетленна осень.
Проскользнув в невидимую дверцу,
мои слезы пьют сладости-осы.

Невозможных не бывает странствий,
черно-белых не припомню
сновидений...
Непредсказанное, будь со мною,
здравствуй!
Стань моей ночной нестрашной
тенью.

* * *

В этом доме мой давний приют,
возле дома заброшенный пруд,
там прозрачные рыбы.
Их движенья эфирно легки,

я кормить их стану с руки,
притворясь неподвижною глыбой.
Распыляясь в жемчужном луче,
водяная луска на плече

серебристой парчюю.
Тонет в тине усталая тень,
и в ленивой воде медлит день,
в предвечерье кочуя.

* * *

...И я пью этот воздух
смолянистый, горячий и пряный —
рыжих сосен дыханье,
перезрелого полдня дурман,

И твоё нетерпенье
разогретою пенной струею
узким горлышком хлынет —
дорогое хмельное вино.

Терпковатая сладость Шампани
растворяется в травах полынных,
беспредельная горечь степная,
нерастроченной нежности хмель.

...Невесомые рыбы
нежно-розовый бисер икринок
рассыпают бесстрастно
в серебристо-молочную муть.

* * *

Одинокий маленький еж,
в скользкий сумрак уныло бредешь...
На тебя возложу ладонь —
а в ответ мне, колюче: «Не тронь!»

Терпкий привкус в руке сохраню,
стерпит кожа колючек броню.
Красный бисер, кровавый узор —
беззащитный, немой укор.

Сквозь игольчатый частокол,
отстрадав за уколом укол,
капли крови тяжелой росой
проникают в чертог твой пустой.

Светлой тенью ложится печать —
кровных уз нам уже не разнять.
Мой печальный, маленький зверь,
отвори мне скорее дверь!

СЛЕТОК

Нет желтого — одно багровое.
Мне ль, невзлюбившей жизни цвет,
вновь прощено и подаровано —
открыть, прочесть, узнать ответ?

И ярок лист, и крик пронзителен,
и дорог день, и дань легка.
И жаден вдох недолгожителя,
и короток полет слетка.

СЛЕТОК. ОТРАЖЕНИЕ

В тумане желтом — нить багровая.
Вокзальной одури черты
упрощены и уворованы.
Мелькают фонарей кресты.

И взгляд невольничий пронзителен,
и дверь железная крепка.
И хлынет горлом, омерзителен,
крик паровозного гудка.

* * *

Смуглый закат ползет по щекам
прохожих,
Опрокинуты навзничь бочонки пивные,
Хлеб насущный раздарен или раскраден,
Ну, а нищему что остается?
Молитва хмельная.

Зреет в кошачьих сиренах шальная
простуда,
Млеют истлевшие рваные гроздьи
сирени,
Бредит глотком никотина старик
не согретый,
Стынут в ладони монет невесомые
слитки.
Что остается нищему, кроме молитвы?

Расплетает зеленые косы древесная
поросль,
Распускает весеннее чудище сети
паучьи,
Расторгаются цепи небесных
заблудших созвучий,
Распластается ночь, как косматая
черная псина, —
С нею нищий уляжется на мостовую,
Молитву слагая...

* * *

Как нотариусу поверяют тайны
семейные
о наследстве (читай —
«о наследственности»),
мне — влечение к полю бумажному,
к полотну неотвязное побуждение.
Наваждение? Наслаждение —
сплетением слов, порождающих
это за- или не зарифмованное
строк минорное соглашение.
Полотно домотканое, сырое, серое.
Плащаница? — Нет, власяница
безжалостная.
Из какого хранилища, не из
чистилища ли?
К старьевщику не снести, не сносить,
не избавиться.
А в придачу — еще и бессонница —
стелет жестко, да некому жаловаться —
вносит лепту свою в эту летопись
дней моих и чужих, что остались моими.

ЗИМОРОДОК

*Памяти животных, уничтоженных на спецзаводе
в Пирогово*

*На безлюдье, прячась за хмурыми стенами,
люди отбирали жизнь у животных. Глаза жи-
вотных и глаза их мучителей забыть невоз-
можно. Мы пришли туда — и смерть от-
ступила, но зловонным дыханием она отрав-
ляла наши души. Задыхаясь от бессилия, мы
поднимали глаза к небесам — там безопасно
ревелись зимородки, птицы редкой красоты.
Иногда мне кажется — нас давно уже нет: мы
остались в отвоеванном у смерти Приюте, и
зима превратила нас в осколки синего льда.*

В безысходности осени,
В зимней слепнущей проседи
Зачиналась горячка чумная —
Троекратная тяжесть весны.

Кровь пустующая трехгодовалая
Неуемно-звериная, шалая,
Несговорчива и не растрочена
Злая память — блуждающий нерв.

И казнит меня взглядом непрошенным
Встречный пес, бедолага заброшенный,
Презирая подачку грошовую,
Лижет щек моих влажную соль.

Не корми меня, матушка, досыта,
Не кори меня, только лишь до света
Не забудь разбудить, ах, не спрашивай!
Не совай мне тайком пирогов...

В Пирогово мой путь запорошенный,
В сердце вживленный и растревоженный
В серой провесни, в ранишной безлюдной, —
Птицей вешней, нездешней, иной.

И бросается ястребом ряженым,
По глазам хлещет лучиком лазерным,
Породнен с синей вьюгой и радугой
Поднебесный лазурный цветок.

Бьет крылом в ветровой синий колокол
И возводит невидимый частокол
Зимородок, дитя бессловесное,
Пироговский храня хуторок.

* * *

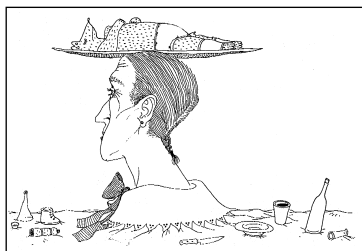
*«Жизнь была — сплошной Сочельник,
Смерть нам будет Рождеством!»*

Д. Каратеев

Ненавижу новогодний праздник —
праздник, где я буду без тебя.
Хвойный запах мучает и дразнит.
Восседает за столом родня...

Но куда же мне с моей тоскою
спрятаться, слезы не пророня?
Мне не слиться с шумною гурьбою,
Хлопья снега падают, звеня...

Узкою бы мне идти тропкою,
Голову смиренно наклоня.
И осыпаться бы ржавой хвоей —
выметут к Сочельнику меня.



КОНОПЛЯНЫЙ БОГ

«И шестикрылый серафим...»

Мой шестипалый хирасим —
уродец, нетопырь, поганец,
ягненок, что сполна вкусил
незрелых волчьих ягод глянец.

Грошовый скользкий леденец,
раешный чертик, гном, заноза,
глотатель плюшевых сердец,
мушиный царь в плену навоза.

Гадючьим тонким языком
ты пьешь в моих глазах соленых.
Ты — мой косматый страшный сон,
волчок в колоде карт крапленых.

Подкидыш, пересмешник, вор —
молиться о тебе не стану,
мой шестипалый конопляный
божок, расстрелянный в упор.

УХОВЕРТКА

В Теремках зажигают свет —
на Лесной наползает смог.
Телефон проглотил ответ —
и услышать никто не смог.

В телефонных сетях — бред,
уховерток хитиновый треск,
меховой щетинится плед,
превращается плач — в смех.

Электронный ушной клещ
выгрызает ядрышки слов,
проедает в эфире плешь,
плотоядно учуяв клев.

Только приторный крысий писк
дробно метит ушной барабан...
Предъявляй свой маленький иск
к звездочетам... на Альдебаран!

* * *

Щетиной наружу — такое нутро!
у тех, кто прячется
в тоннелях метро,
у тех, кто бормочет
себе под нос
подобно стае растравленных ос,
сплетая нехитрый хриплый блюз:
— Я не вернусь к тебе!
Я не вернусь...
И блюзовый ветер кричит у окна:
— Я не верна тебе, я не верна!..

* * *

В горклом масле лампы
задыхается ветхий фитиль.
Бросим в чай для услады
сахаристую горечь-ваниль.

Всхлипнет чайник, вскипая,
старый спор откровенно нелеп,
и молитву слагая,
крикнешь: «Боже, ужели ты слеп?!»

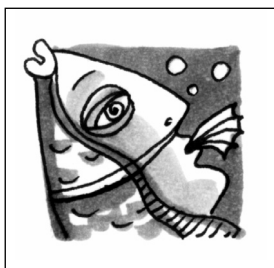
Чахлый свет от лампы —
шнур бикфордов давно догорел.
До чего же мы рады
терпеливо сносить наш удел...

* * *

Смыкание органов говоренья —
бульканье лопающихся мыльных слов.
Яблочным излюбленным вареньем
измазаны жирные морды блинов.

Кровосмесительное наважденье
плод запретный венчает со словом «плут»,
и зеркальным шарахнется искаженьем
слово «люблю» от слова «блуд».

Беленою кормленное, желчное, злое,
на устах преломленная Божья печать, —
как плевков из гнилого нутра изгоя,
блевотно-расхожее слово «б...».



LA NOSEE¹

Может быть, я дурею с тоски —
На безлюдье и нелюдь покажется другом,
не скрою.

Обнаружу забытые кем-то носки —
Окроплю этот фетиш нещедрую
женской слезою.

Нет, не лирика — желчный сарказм.
Не рифмуется слово «кровать»
со словом «мужчина» —

Тут прихватит чулочной петлею спазм...
La nosée, господа, — вот такая причина.

А февральский вечер, как купорос,
Синим инеем выжжет сумерек паутину.

И пейзаж за окном по-сартровски прост.
Je m'emmerde, messieurs², смените картину!

¹ La nosée — тоска (*франц.*); «La nosée» — произведение французского философа-экзистенциалиста Жан-Поля Сартра.

² Je m'emmerde, — французское ругательство, здесь: «Я устала, господа».

ЗА СТЕНОЙ

Мне хорошо одной
плыть за высокой луной.
В доме моем герань,
занавесок ажурная рвань,
фаллических кактусов ряд
вооруженный отряд.
Тот, кто проникнет извне,
дабы познать в глубине
моих распахнутых глаз
непреходящий экстаз —
будет наказан вдвойне,
как самозванец и вор.
Я буду биться на спор —
виснуть ему на стене.
Но не болтаться в петле,
а жить в домашнем тепле,
как плоский бумажный трофей —
фотогеничный пигмей.
Не спит на стене циферблат —
времени верный солдат,
чеканит шаги в тишине,
не приближаясь ко мне.
Глянцевый твой лик
в лунных лучах поник,
выгорел, как трава.
Не я ли была права
в том, чтоб остаться одной
воздух вдыхать ночной,
посылая холодной луне
отраженье свое в окне?

БЕЛЫЕ СТИХИ О СНЕГЕ

Б. М.

*В моем городе — снег. Я его для тебя сохраню.
Он в ладонях моих не растает до самого лета.
И в желанной реке, в неизведанной
темной воде
Мне уже не спастись под блаженными
волнами Леты.*

...О снеге уже все сказано,
и мне суждено повторяться.
Набираю в порыве безумства твой номер
величиною в четырнадцать
с половиною цифр
и сбиваюсь со счета
в заунывной морзянке.
Подхватив на лету
сбивчивый ритм дыхания,
я просто хотела сказать тебе:
«В Киеве — снег!»,
пробудить твое видение
длиною в две тысячи километров,
чтоб из дальней чужой планеты
ты заметил: на родине — снег.
В нашем городе снег.
Он снисходит, как милость,
чтобы стыд дотлевающих листьев
сокрыть.

Я его для тебя соберу,
безупречный безжалостный чистый
он к весне не растает
в озябших ладонях моих.
...Ослепительно белый парик
надевает великий маэстро,
чтобы скрыть свою плешь,
и снежинок парша
на усталые плечи ложится.
Поднимается занавес,
стойкою крохотной моли
вступает оркестр...
Тишина...
Я замираю в предчувствии.
Обнаженный твой город
припудрен небесною пылью.
Декорация великолепна.
Слышу снежинок смех.
А ты
слышишь меня?

ШЕЛКОВЫЙ ТЛЕН

Тонкая былинка — мой стишок,
хворая травинка сквозь песок.

Шелковая ниточка-стежок —
легкой твоей поступи шажок.

Шаг вперед, челнок, два назад,
петелька за петелькою в ряд.

Не стряхнуть стебельку злую тлю —
Ткет смертельный челнок мне петлю.

Ши хрупкий стебель наклона
Срежет шелка тонкая петля.

ОЧАРОВАННАЯ ЛОРЕЛЕЯ

С корнем вырви желанья жало,
брось в лицо мне дерзкое «нет».
Но на донышке сердца, ржавый,
все равно будет теплиться свет.

Хочешь — выплесни, вычеркни, вытри,
разорви, уничтожь, сожги...
Но полуночным криком выпи
растревожу я сны твои.

Буду бережно скорбно лелеять
золотисто-льняную блажь...
Не гони меня, я — Лорелея, —
тленных лунных созвучий страж.

ДОРОГА В ШВЕЙЦАРИЮ

Вместо Schweiz¹ читаю Schmerz².
Шелест губ, зубовный скрежет...
Частота алмазных герц
сердца чистый цветень срежет.
Глаз стоячая вода,
взгляд готической химеры...
Отпустивши полной мерой,
не остави навсегда.

¹ Швейцария (нем.)

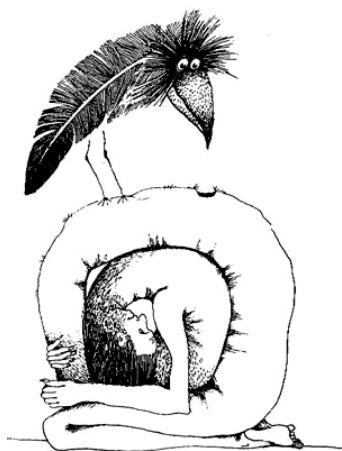
² Боль, страдание (нем.)

ДОРОГА В ШВЕЙЦАРИЮ II

Вместо Schweiz читаю Schmerz.
Шелест губ, зубовный скрежет...
Частотой алмазных герц
сердца чистый цветень срежет
глаз стоячая вода.
Увлекает, но куда? —
Взгляд готической химеры.
Сырный дух, густая речь
и блаженство выше меры:
виноградники стеречь.

ПОРТРЕТ

Чернильная роспись крыла,
антрацитовый жадный жаркий глаз.
Ни гнезда, ни двора, ни кола —
лишь картавый гортанный скорбный глас.



ОТРАЖЕНИЯ

Она пишет портреты, позируя перед
зеркалом,
подражая невольно тем, которых
любила,
не страшась быть отвергнутой и
неприкаянной,
обозначив контур прозрения или
безумства
в мерцании темных омутов глаз.

Она пишет портреты с себя,
сбрасывая, как одежду,
отражения тех, кого согрела и
оттолкнула,
оставаясь нетронутой,
как пересоленная пища,
как острие раскаленной иглы.

Она черпает свои портреты из зеркала,
плавая взглядом в таинственной глади —
а та остается невозмутимой и
нерастраченной.
И, преступив грань узнавания
в этих пасмурных и своенравных ликах,
она восклицает: «Кажется, удалось!»

БЕССОНИЦА

«Кто-то чужой мое имечко празднует...»

Д. Каратеев

Понапрасну пустеет бутылка вина —
не напиться, тем паче не спиться.
В темном омуте, в неводе сна
не удержать меня — мне не спится.

И часами в ночи мне скользить, но не пасть,
и не спрятаться, и не забыться.
Все глядеть мне в бездонную черную пасть,
в пух колючий пытаюсь забиться.

Разбредаются, сбившись со счета, слоны,
заслонили Луну их громоздкие тени.
Видно, кто-то чужой мои празднует сны,
освещая ими кромешную темень.

ИГРА В НИЧЬЮ

Мое тело, которое ты любил,
Ходит за мною покорною тенью.
Прогнать бы его — да не станет сил.
Остается растерянность и терпенье.

Ходит по свету уже не твое
Тело, сросшееся, словно панцирь
С душой, одичавшею, как зверье,
Озябшей, как узник, брошенный в карцер.

Ходят по кругу ничье и ничья,
Превращая игру в пустую затею.
Как собрать их в единое «я» —
Тело с душою, не ставшей твоею?



ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

Можно — Дереву,
Можно — Птице,
И далекой Луне бледнолицей,
И высоким седым Облакам
Говорить о любви и молиться:
«Пусть откроется высший Сезам
И Фаворским огнем озарится
В моем сердце не тлеющий храм!»

КОШКЕ

Кошке — молоко, а мне — варенье,
Жидкий абрикосовый янтарь.
Медлим, продлеваем наслажденье
Ты и я, живая Божья тварь.

Кошке — кот, а мне какое дело?
Лучше я поставлю самовар.
Пусть коснется стынувшего тела
Влажный и горячий чайный пар.

Страсть кошачья так недолговечна,
Ускользает шелком из-под лап.
А тоска — все та же, человечья,
Но на свой, звериный, темный лад.

БРАТЬЯМ ПО КРОВИ

Залижи мою рану, бродячий пес!
Я согрею в ладонях твой влажный нос.

Расскажи мне, лохматый, как ты живешь...
Наша жизнь, старина, — что ломаный грош.

И не надо слов, мне известно давно,
Говорит моя кровь: мы с тобою — одно.

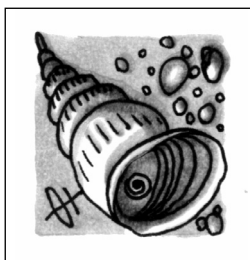
И откуда ты родом, и где твой кров,
Клейменный породой гонимых псов?

...Умолкаем, уходим, травую шурша,
и беззвучно рыдает собачья душа.

И откликнется эхо далеких миров,
Отражаясь в созвездии Гончих Псов.

МОЕМУ ДОМОВОМУ

Взглядом блуждаешь не колким,
ступаешь неслышно, таишься,
колышешься, еле дыша.
Правда ли, имя твое человечесье — Николка?
Шалостью ли кошачьей искрится
древняя и простая душа?
Старится камень в молчанье...
Учебник столетий листаешь,
иль слушаешь музыку сфер?
Знаю: не спится безлунными злыми
ночами...
Кто твой владыка: Творец ли,
а может быть... Люцифер?



ОДА В ЧЕСТЬ КОТА ЭЛЬФА

*Эдемских крылатых служителей рать
Львиный рык превращает в ушей усладу —
Фривольно мурлычущую благодать.*

Ты избегаешь цепких объятий,
резких движений моих сторонишься.
Извлекаешь из шелка белого платья
двадцать алмазных клинков, когда
злишься.

В розовой мякоти, в белом шелке
прячешь их, двадцать убийственно острых,
и, сузив глаза в изумрудные щелки,
манишь меня на блаженства остров.

Остров Блаженства, раек кошачий —
здесь трепет Зефира в цветочной чаще.
И жалом сладким, от неги незрячий,
сверлишь мне ухо потоком журчащим.

СОН

А. Безгину

...Этой ночью мне снились
дельфины.
(В океане мы бросили якорь.)
Я кормила их и смеялась.
Ты был, кажется, рядом, а может
ты — был одним из них...

Да, наверное, так и было...
Точно — помню, один был похожим
на сородичей наших.
Как человек, он дремал на боку,
его волны качали...

...Я плыла к нему и пыталась
быть как он, чтобы плыть
и продлить наслажденье
единеньем с водой,
а быть может, с тобою...

И в соленых слезах
мне хотелось проснуться
и в тебе утонуть...
Но нельзя утонуть в океане,
если ты — его часть.

ПЛАЧ ПО ИОСИФУ

Одна мысль, что его здесь нет,
нет абсолютно,
в пространстве и времени,
нет в этом мире,
исключая возможности встреч
и вечерних бесед,
равно как и возможность войти
в звукоряд его лиры —
разрывает аорту, терзает мозг,
между строк проступают стигматы —
печать его боли,
и слезами горячими тая, стекает воск
над его колыбелью земной,
над могилой вселенской юдоли.
Как мне имя его произнести?
Изменяя тональность строфы,
в мою жизнь входит осень.
Голосами земли наполняется небо и несть
Им числа, лишь уста сохраняют
сухое горячее имя: Иосиф.

* * *

Б. М.

Вы меня больше совсем не любите...
Мне в прозрачных овалах просторно
и холодно.
Вы меня больше совсем не любите.
Рассыпаются рыбы осколками льда.

Вы меня меньше любить не сможете.
В снежных пролежнях чахнет
весеннее княжество...
Вы меня меньше любить
не сможете, —
растворюсь в придорожном соленом снегу.

Время метит подковою ржавою —
ледяные проталины выбиты
дочерна.
Время метит подковою ржавою,
медлит, дразнит, колдует и лжет.



ОСИНАЯ ОХОТА

Я думала, это осень,
Казалось, радость уйдет.
Но налетели осы
Собрать этот дикий мед.

На доньшке, не на покрывшке, —
Достать бы! — да дразнит бес.
Сластена не понаслышке
Без страха и жалости без.

Но слаще осинной охоты
Острее их терпких жал
Сводимый любовные счеты
Под сердце вонзенный кинжал.

АНЕСТЕЗИЯ

*«В полночи бед,
неустанных тревог...»*
(Из народной песни конца 70-х.)

Писем — ноль, писемноль, писемноль...
Слышишь боль? — слышишьболь,
слышишьболь...

В безупречную память сети
Твое имя забыла внести,

Анастасия,
Анестезия...

Шепот клавиш в полночи бед —
не услышать желанный ответ.

Не увидеть лица твоего,
Сотворенного из ничего,

Анастасия,
Анестезия...

Не прочесть, не узнать, не найти
В скоростном электронном пути

Твое имя, как сладостный вдох,
Как глубокий живительный вдох —

Анастасия,
Анестезия.

* * *

Обмануть Тебя? — Невозможно.
Но послушаться — вероятно.
Созерцая на солнце пятна,
поражен слепотою безбожник.

Жалит слепень глаза телячьи...
Что слепым благодатное зелье? —
если путь им уже предназначен:
с узкой тропки в крутое ущелье.

Жаждет легкой добычи стервятник,
терпеливый и осторожный,
тухлый студень глазниц незрячих
прямо с пылью клюет придорожной.

ЛУННАЯ ПЕСНЯ

Сквозь грязный асфальт,
сквозь толщу газет,
сквозь тусклый больничный
недужный свет
Я поднимаюсь!
Неслышно ступаю
в холодном огне,
и лунный лик улыбается мне.
Я поднимаюсь!
Скользя по наклонной,
срываюсь вверх —
слышу крылатых сомнамбул смех.
Я поднимаюсь!
В небесный ковчег,
в ночной мираж
меня увлекает лунная блажь.
Я поднимаюсь,
Я поднимаюсь,
Я поднимаюсь...

ЧУЖОЙ ГОРОД

(Песня)

Меняешь запах лошадей
на запах поездов,
на запах людных улиц
и городских цветов.
И в разбитых огнях
человечьих жилищ
ты не сможешь найти
ни приюта, ни пищи.

Никогда этот город не станет твоим!

Воздух, как хлороформ
и затертый пейзаж,
геометрия форм —
сумасбродный коллаж.
Будет свет, будет хлеб
и живая вода,
но над городом небо
цвета серого льда.

Никогда этот город не станет твоим!

Но послушай, послушай,
я знаю ответ:
в этом городе мертвых
тебе места нет.
Не пробудит его

Твой безудержный плач
Это город тревог,
Это город-палач.

Никогда этот город не станет твоим!

...Меняешь запах лошадей
на запах поездов,
...Меняешь запах лошадей
на запах поездов,
Меняешь запах лошадей...



ВСЯ ЖИЗНЬ — РОК-Н-РОЛЛ

(Песня)

Никогда никого не умела любить,
Не хотела ждать, ни о чем не жалела.
Обрывала сама волшебную нить,
Тосковала одна, но плакать не смела.

И не помнила дат, не считала лет,
Растворяясь в холстах и в печальных аккордах,
Но всегда ей сиял негасимый свет
И звенела в ней струна, и казалась она гордой.

Но когда в ней взрывалась точка боли
Зажигался в ее сердце мотив рок-н-рольный,

И она
слушала,
как в ней
бушует рок-н-ролл,
И она
танцевала
свой рок-н-ролл.

Она танцует рок-н-ролл...
Она танцует рок-н-ролл...
Она всегда
будет танцевать
рок-н-ролл.

Но кто же ее научит любить,
Прожигая дни в этой новой роли,
Продлевая в бесконечность волшебную нить
Называя жизнь сплошным рок-н-роллом?

Ты танцуешь рок-н-ролл,
Она танцует рок-н-ролл,
Мы всегда будем танцевать
рок-н-ролл!

* * *

Расцветай для новой радости,
Не грусти,
не грусти!

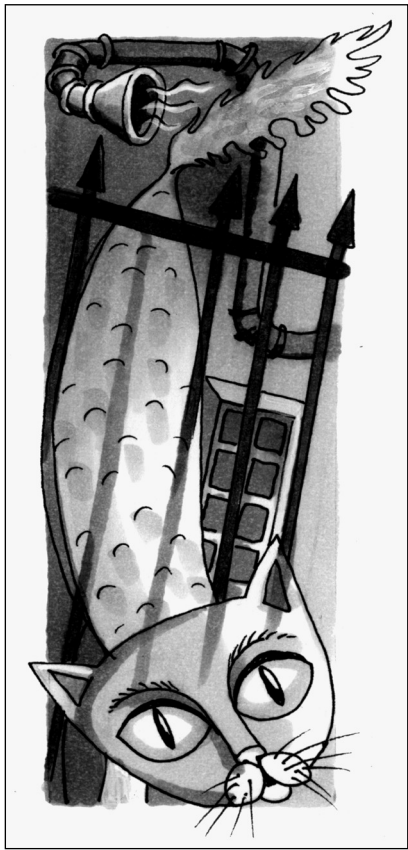
Крылья новые, лиловые
Отрасти,
отрасти!

В небесах повисла радуга —
Посмотри,
посмотри!

Семицветною подковою
Озари,
озари!

В бесконечность сине-алую
Улетай,
улетай!

Край чужой, страну опальную
Покидай,
покидай!



РАССКАЗЫ

АСФАЛЬТ

(Почти правдивая история)

Сначала мать корила ее, а потом стала жалеть. И даже как-то пошла во Владимирский и, неумело, неловко крестясь, поставила за нее свечу. Воск на свече стекал слеза за слезой, образуя причудливые наросты.

...Она приходила к нему на рассвете, оглушенная своим неистовым сердцебиением. Ей чудилось, что вся улица прислушивается к стуку ее каблучков и штормовому гулу бьющейся в висках крови. И она спешила проскользнуть через сонный дворик, задыхаясь от стыда и нетерпения. Он кротко и обреченно смотрел ей в глаза и затем, протянув ей навстречу худые полудетские руки, звал к себе. Теперь они уже задыхались вместе. Становилось страшно. Во рту пересыхало, спазм перехватывал горло. Ее тело мучительно вздрагивало, она всхлипывала и беспомощно прижимала к себе такое же всхлипывающее дрожащее существо.

...Ее ноги, скованные судорогой непомерного волнения, так никогда и не раздвинулись. Она не раз пыталась сказать ему что-то важное, но язык деревенел, слова выходили вымученными, нарушая все законы грамматики.

* * *

Возвращаясь к себе, она становилась легкой и непринужденной. Хохоча и болтая без умолку, она носилась по комнатам. Разбуженные летающими движениями зеркала, изумленные, передавали друг другу ее сияющее

отражение. Порхая с одной темы на другую, она, сама того не замечая, говорила только о нем, ни разу не назвав его имени. Вся семья слушала ее восторженный лепет с невольной грустью.

Ее ремеслом был устный перевод. И то, что давалось ей обычно с напряжением — шло с ошеломительной легкостью после утреннего свидания. Скучнейший деловой разговор в ее интерпретации превращался в театр, где подвижные губы на оживленном лице легко и свободно жонглируя словами, вступали в удивительную игру с выразительными жестами быстрых рук, готовых подхватить в нужный момент спадающую нить разговора. А ее голос то тушевался в глухих низких тонах, то в резком крещендо взмывал в верхний регистр, уподобляясь кошачьим руладам.

* * *

С работы она бежала, лавируя между устало плетущимися людьми с грацией преследуемой ящерицы. Дома ее поглощало очень важное дело — ожидание его звонка. Она ложилась, замирая, возле телефона и часами не сводила с него глаз. Едва заметив мерцание сигнального глазка, она срывалась с места, словно от укуса хищного насекомого, прежде чем звук вспарывал тишину.

Соединенные этим бесконечно длинным проводом, но защищенные расстоянием, они могли наконец говорить, не задыхаясь. Простодушно смеясь, они вертели калейдоскоп разговора, и слова, будто невзначай, сплетались в причудливое кружево. И как было важно ей, ненасытной и неистойвой, не позволить стону безудержного нетерпения разрушить хрупкий лабиринт, воздвигаемый из разноцветных стекляшек-слов... Но бушующий в ней

вулканчик чувств взрывался горячей нежностью, в ответ обрушивалось сдавленное «Молчи!» — и разговор скучнел. И все-таки, прощаясь, он тихо просил ее: «Приходи, пожалуйста, приходи...»

* * *

Она склонялась над ним, бережно прикасаясь губами к его закрытым глазам, к смешному подбородку, к неокрепшей полудетской груди, и, когда этот сладкий путь близился к его покрытому шелковыми волосками животу, — она уже чувствовала волнуемый сырой запах. Нежно и бережно она слизывала его живую влагу, которая спешила пролиться слишком рано, — не досадуя, но безмерно удивляясь этому, и тихо, блаженно смеялась от восторга. А он смотрел на нее с тоской и растерянностью. Иногда он гладил ее разделенные на прямой пробор волосы, свисающие до плеч, подобно ушам у спаниелей, и грустно произносил: «Моя собака... Моя ласковая собака».

Терзаясь своим недугом, он пугался той неведомой силы, с которой не мог совладать.

* * *

...Он звонил ей все реже, а при встречах был отчужденным и молчаливым.

Задыхаясь в напрасном ожидании звонка, увязая в липкой паутине времени, она невыносимо страдала. Исхудавшее тело коченело от неподвижности. Она принуждала себя приниматься за работу, но предметы выпадали из рук, ее знобило и покачивало от головокружения. Как сумасшедшая, она бросалась на телефонный вскрик, но в трубке каждый раз звучал чей-то чужой голос. Она мямлила в ответ что-то невразумительное, лишь бы прервать

поскорее ненужный разговор. Со временем, не услышав родного голоса, она просто бросала трубку, ничего не объясняя. Друзья сначала обижались, а потом стали жалеть ее, говорили о ней негромко, вполголоса, и говорящим было как-то не по себе.

* * *

Она стала забывчивой и небрежной на службе, которой раньше так дорожила. Во время переговоров у нее все чаще возникали длительные заминки, и ее лицо, некогда такое оживленное, выглядело теперь угасшим и усталым. Однажды, застав врасплох выражение своих глаз в зеркале, она больше не снимала темных очков. Со временем паузы в переводе участились, стали более тягостными и угрожающими. Глаза переводчицы блуждали под защитой полупрозрачных стекол, пальцы теребили прядь волос... Ей вежливо повторяли вопрос, но он казался ей чужим и неинтересным. Иногда она просто вставала и, забыв даже извиниться, не испытывая малейшей неловкости, уходила прочь. Наконец ей сказали, что она может не приходить больше. Она выслушала об увольнении рассеянно и равнодушно. Сотрудники, затягиваясь сигаретным дымком, наблюдали в окне ее удаляющийся неуверенный силуэт, — кто с сожалением, а кто с брезгливой насмешкой.

* * *

Она слепо бродила по городу и каждый раз оказывалась опять на тихой улочке у старого Ботанического сада. Здесь всегда было так безлюдно, что можно было, возвращаясь со свидания, позволить себе громко смеяться и в бешеном восторге шептать все, чего не в силах

был выразить при встрече скованный волнением язык. Некогда это была улица ее счастья. И если бы он пришел сюда минуту спустя после нее, его охватил бы поток безумной нежности, которой здесь был насыщен воздух. Он смог бы наконец поверить в силу чистого блаженства, разрушающую страх, неловкость и непонимание. Ему открылось бы божество, которое помогает преодолевать невозможное, являясь на земле лишь натурам взбалмошным, безумным и святым.

* * *

Однажды в синих сумерках она забрела во двор его дома. В окнах светилось, но зайти она не посмела. Юркая тень мелькнула в подворотне, и мокрые лапы часто заработали в воздухе, царапая джинсу на ее коленях. Пес по кличке Бомжик, постоялец этого двора, извивался от радости, приветствуя добрую знакомую. Раньше они часто подкармливали его, и девушка не могла отделаться от зависти, наблюдая, как ее возлюбленный, только что такой холодный с нею, находит самые ласковые словечки для бездомного пса. «Я хочу быть бездомной собакой!» — вырвалось у нее однажды.

* * *

«Дарьюшка», — бережно прикоснулась мать к ее плечу, пробуждая дочку от зябкого оцепенения. — «Ты б поела чего-нибудь...» Девушка молчаливо и покорно брела на кухню, бессмысленно ковырялась в пище, невидящим взглядом уставившись в одну точку, нехотя жевала, не чувствуя вкуса; и вдруг, начиная задыхаться, роняла вилку. Слезы обрушивались из невидящих глаз, еда вываливалась изо рта... Младший брат прыскал со смеху, наблюдая это жалкое зрелище, мать строго шикала на

него, а отец, пыхтя трубкой, создавал себе завесу из голубых колечек ароматного дыма, и мрачно молчал. «Наша девочка родилась без кожи», — говорила жена, оставшись с мужем наедине. Но завеса из дымного кружева становилась еще гуще, и тяжелыми шторами опускались веки, скрывая выражение неумной боли.

Теперь и дочь все больше молчала, а, пытаясь говорить, не могла припомнить нужных слов. Вскоре она совсем перестала разговаривать, только вздыхала украдкой.

Выбираясь из дому, она подолгу простаивала перед открытым гардеробом: слишком больно было надевать то, что вызывало когда-то его восторженную улыбку. Однажды она вытащила из вороха заброшенной затхлой одежды одно простенькое, незатейливое платьице, и с тех пор тряпки ее больше не занимали. Но больнее всего было слушать музыку. Однажды она сгребла в кучу все свои любимые кассеты и забросила их в пыльный угол за диваном.

* * *

«Дарюха-дуреха, Дарюха-дуреха, Дарюха-дуреха...» — неустанно гнусавил брат-подросток, уже не рискуя, как прежде, получить мягкую оплеуху. Но вскоре ему надоело дразнить ее, и он сам как-то погрузнел, украдкой наблюдая за сестрой, которая сидела в кресле, вяло держа робкие руки на худых коленках, уставившись в одну точку потемневшими больными глазами. Иногда по ее бледному лицу скользила светлая тень. Быть может, на минуту забыв о своей боли, она вспоминала горячее прикосновение, кроткий взгляд и нежный голос, тихо сказавший ей однажды: «Маленькая ничейная собака, маленькая стрэйка...¹»

¹ От англ. stray — бездомный (о животных); to stray — сбиться с пути.

* * *

...Тем летом трава выгорела уже в июне. Однажды они присели в такой мертвой траве. Она беспомощно потянулась к нему, а в ответ прозвучало колючее «не тронь!» Она вздрогнула, и, смущенно пряча руки, обвила ими свои озябшие плечи; и вдруг почувствовала, каким чужим и ненужным стало ей собственное тело, дышащее своей особой, горячей жизнью.

...Странные, не собачьи воспоминания роились иногда в лохматой собачьей голове.

Теперь трава тоже была неживая, злое солнце окрасило ее в цвет хаки. Трава была ближе, чем когда-то и интересней, чем прежде. Она таила в себе запахи множества людских следов, от переплетения которых у нее слегка мешалось в голове, а от запаха пыли хотелось чихать. Стали доступными и лужи, пролитые на асфальт шальным дождем, который раздражил, но не напоил землю. Теперь можно было, едва нагнув голову, лакать воду в радужных разводах, тепловатую, приправленную бензином воду, от которой потом жгло внутри.

Собака тряхнула головой, словно хотела избавиться от навязчивых блох, но снова и снова в ее сознании рисовались картины чужой, но очень знакомой жизни.

* * *

...Каблучки все чаще сбивались с ритма, и Асфальт отвечал каждому неверному движению недобрым скрежетом. Каждый шаг домой казался ей бессмысленным. Она представила себе свою комнату, наполненную, как камера-одиночка, бесконечным ожиданием. Ей показалось, что Асфальт сейчас покроется трещинами, не выдержав пронзительного крика ее боли. Но она молчала, и только ее сухие губы искривились в болезненной усмешке. Источенный оспой, морщинистый, грязный Асфальт простирался повсюду, скупно уступая вымученные квадратики

земли деревьям, которые в тщетной мольбе вздымали к пустому небу обрубки рук. Прохожие привычно попирали его ногами, а он лежал неподвижный, безразличный к мусору, к плевкам и даже к людской крови, которая иногда проливалась на него незадачливыми пешеходами или пьяными забулдыгами. И только от летнего зноя он становился мягким, податливым и отравлял воздух своим смолянистым дыханием. Ей захотелось постичь безмятежность этой застывшей массы, слиться с нею, превратиться в ничто, в жалкий плевок, изрыгнутый из недр больного человеческого нутра. И показалось таким легким и простым — упасть ниц и остаться лежать, не думая ни о чем, забыв о вчерашней радости и сегодняшнем горе, поминутно мертвея, превращаясь в ничто, и уже не различая слез дождя и жалящих прикосновений солнца.

...Прохожие не ведали, что разносят на своих подошвах чью-то живую, переполненную неумемной жаждой жизни, спекшуюся кровь.

* * *

Поначалу она крутилась неподалеку от метро, где расположились ряды отчаянных уличных торговцев. Людские руки часто тянулись к ней, в привычном желании хватать все живое и красивое. Но она уворачивалась, не терпя чужих прикосновений. Никто не звал ее за собой, только однажды чей-то голос в толпе участливо проронил: «Ой, собачка! И породистая вроде... Надо же, выбросила какая-то сволочь!»

На сером асфальте, среди тошнотворных, молочного цвета плевков, скомканных бумажек и раздавленных окурков было так тяжело отыскать хотя бы маленький кусочек сладостей, которые она так любила. Юркие воробышки и прочая пернатая шушера чуть свет копошились в уличной грязи, не упуская ни единой съедобной крошки. Иногда парень с широким добродушным лицом, торгующий

мясными потрохами, с притворной грубостью окликал ее и угощал домашним пирогом. Он давно заметил, что эта странная собака отказывается от мяса, но тощает день ото дня. Наконец он надумал забрать ее к себе, подошел к ней с ошейником в руках, но собака отскочила в сторону и тут же остановилась, подарив парню мягкую, ненасмешливую улыбку. Парень ринулся к ней, но она, ловко извернувшись, скрылась из его глаз навсегда.

* * *

Не одна неделя прошла в поисках того самого двора, того заветного дома в двух шагах от Ботанического сада и ее несбывшегося счастья. Старый пес по имени Бомж, по привычке ворчащий на прохожих, вдруг умолк при виде лохматой рыжей гостьи. Собаки объяснялись недолго. Несколько испытующих взглядов, мелкие подрагивания хвостов — и Бомжик унесся прочь от странной собаки. Бывалый пес почуял в ней что-то такое, от чего его шерсть вздыбилась на загривке... Этот дворик был не единственным и далеко не самым лучшим пристанищем ушлого бродяги. Здесь люди не жаловали особой щедростью и добротой, кроме одного жильца, — его раньше сопровождала молчаливая и очень грустная девушка...

И опять псу стало не по себе от смутного воспоминания или догадки, и он припустил галопом, разгоняя это странное чувство.

* * *

Дворик был неуютным. Часто сюда заезжали огромные машины, и грубые дядьки, грязно ругаясь и зубоскаля с толстыми тетками, с грохотом разгружали какие-то ящики. Но ни суета, ни голод не беспокоили ее. Она лежала, положив голову на лапы, полузакрыв кроткие глаза.

Ожидание стало ее сущностью. Теперь окна-глазницы старого дома оставались равнодушными к заброшенной собаке, и она больше не чувствовала стыда, ожидая своего возлюбленного. Утро и вечер чередовались в неизменном порядке, даря ей встречу с тем, кому принадлежало ее измученное сердце. Предчувствуя его появление, она начинала мелко дрожать. Его удивлял этот озноб посреди летней жары, но еще больше удивлял взгляд бродяжки. По утрам он кормил ее остатками своего ужина, а вечером приносил тающее во рту пирожное с яблочной начинкой. Он нежно гладил ее, прикасался к ее шее и говорил ласковые слова, но почему-то всегда избегал ее не собачьего взгляда.

Иногда он выходил из дому с какой-нибудь девушкой, которая оставалась в отчуждении, пока он ласкал длинные уши и податливую шею брошенной собаки.

* * *

...Так прошло все лето, и пролилась холодными дождями осень. Стрэйка, так он назвал ее, оставалась у его дома в неизменной позе вечного ожидания, равнодушная к морозящему дождю и злому ветру.

Внезапно грянувший мороз покрыл собачью шерсть коркой льда, и дрожь ее волнения сменилась болезненной лихорадкой. Выйдя утром из дома, он заметил, что нос собаки был сухим и горячим, а ее тело судорожно подрагивало, часто и шумно дыша. Целый день посреди своей обычной суеты он невольно вспоминал о дворняге, и на душе было тревожно и сумрачно.

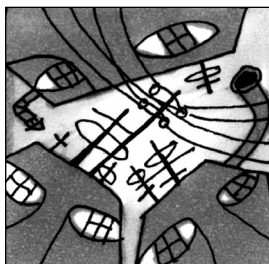
Внезапно, подчиняясь неосознанному порыву, он бросил все, пробормотав какие-то оправдания начальству, и ринулся домой. Дорога была заторена. Преодо-

левая пробки, его автомобиль дерзко врывается на тротуар, распугивая прохожих. Этот день выдался для него совсем необычным: строгие стражи уличного порядка просто не замечали его безумных выходов. Казалось, он мчится, огражденный тоннелем, где беспрерывно сияет зеленый свет.

Стрэйка лежала на боку, ее потускневшие глаза были почти закрыты, живот судорожно вздымался. Почувствовав присутствие возлюбленного, она попыталась встать, но лапы только болезненно вздрогнули и виновато забился хвост.

* * *

...Она очнулась в незнакомой теплой комнате. Белый свет слепил глаза, пахло чистотой и лекарствами. Мягкий чужой голос говорил что-то успокаивающее. Она смиренно стерпела укол, покорно проглотила теплое снадобье, поблагодарив горячим влажным языком. Затем ее охватила сладкая усталость. Засыпая, она почувствовала, как ее поднимают родные руки и услышала любимый голос, тихо твердивший: «Стрэйка, маленькая Стрэйка, ты со мной будешь всегда!..»



ТРАКТАТ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СИЛЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СЛАБОСТИ

«Кто-то малодушничает, выбрасывая на улицу «лишних», невостребованных животных. А кто-то проявляет силу и берет на себя ответственность за найденнейшей».

...Котята дрожали от холода и неустанно кричали, — до хрипоты, до полного изнеможения. Они были на волоске от гибели: их могла переехать машина, разорвать собака, они могли стать жертвой обыкновенного человеческого садизма или просто умереть от инфекции. Мать не могла их услышать — их отнесли подальше от дома. Но они не теряли надежды — так работал механизм сохранения вида. Их крик, затем жалобный писк слышало много людей. Все они ускоряли шаг, как только замечали коробку с котятками.

На секунду людям становилось стыдно перед кошачьими детьми, бессовестно выброшенными на помойку. Кто-то находил в этом сходство с подкинутыми младенцами и лишенными крова стариками. Да, это сравнение было вполне уместным — у четвероногих парий, как и у стариков и детей, есть одна общая черта: они не могут позаботиться о себе сами. Но люди гнали от себя эту мысль, которая казалась им кощунственной: ну как можно сравнивать животных с человеком?

Следующая формула, которой успокаивали свою совесть прохожие, была: «Но нельзя же спасти всех!» или «А вот в Африке дети умирают с голоду!».

Перед людьми не стояла задача спасти и накормить всех на свете брошенных и страждущих. Никто из них ни разу в жизни не помышлял помочь каким-то далеким африканским детям.

Кое-кто извлекал из своего мыслительного хаоса еще один удачный щит: «У нас и так денег не хватает». Некоторые защищались от кошачьего писка резонным доводом: «Но у нас уже есть кот» или «А на кого оставить животное на время отпуска?»

Иногда эти мысли взрослые высказывали ребенку, у которого при виде котят глаза загорались радостью надежды. От логики взрослых в детском сердце угасал какой-то таинственный теплый лучик. Ни один ребенок не соглашался с родителями, а просто растворял свою горечь в слезах и тихо смирялся, обреченный на одиночество и непонимание.

Но наконец возле котят остановился Человек, который нес на своих плечах такой же ворох забот, как и все прохожие. Он спешил на работу, где платили мало денег, а об отпуске он даже не мечтал. Он никогда не задумывался над тем, чтобы спасти каких-то далеких и невидимых страждущих на другом краю Земли. Но когда на глаза попадалось беспомощное существо — он просто не мог пройти мимо. Вот и сейчас...

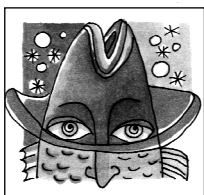
Человек тяжело вздохнул, положил котят за пазуху и отнес их к себе домой. Он, как и все в то утро, спешил на работу, но из-за котят вынужден был вернуться домой. Его жилище давно стало приютом для маленьких беспризорников. Человек понимал, что для всех обездоленных его квартира слишком мала и посылал во все газеты объявления со снимками найденышей, а затем терпеливо ждал «добрых рук», готовых принять их к себе.

Человек задержался дома всего на несколько минут: налить новеньким молока и подсыпать в мисочку сухого корма. В тот день он опоздал на работу и смиренно при-

нял замечание начальства. Но на душе у человека было легко — гораздо хуже ему было бы, если бы он прошел мимо попавших в беду существ.

Он улыбался, когда спешил домой. В магазине он купил еще больше еды для кошек, и еще меньше — для себя. Он шел, сгибаясь под бременем увеличившихся забот, и был незаметен в толпе таких же, как он, жителей старого спального района. Возможно, его главным отличием была одна черта: слабость к животным.

Да, он считал себя слабым человеком.



СВОБОДНЫЙ ОТ СЧАСТЬЯ

«...Барин стал обертывать онучами мне ноги, а барыня начала надевать башмаки. Я сперва не стал, было, даваться, но они приказали мне сидеть и говорили: «Сиди и молчи. Христос умывал ноги ученикам».

«Откровенные рассказы странника духовному своему отцу», автор неизвестен.

К концу лета солнце выпило всю влагу из рослых южных трав. Суховой рыскал по выжженной земле, поднимая клубы безжизненной пыли. Перед глазами одинокого путника простиралась нагая степь, исполосованная битыми тропами, ведущими к морю.

Человек с трудом двигал отяжелевшими ногами, распухшими в кирзовых сапогах. Его тело прикрывала выцветшая телогрейка, которая спасала его как от зимней стужи, так и от палящего солнца. Он шел давно, позабыв, когда начал свой путь. У него не было часов, он не смог бы назвать дня недели, и это ему было ни к чему. По громадному циферблату неба плыло раскаленное ядро солнца. Когда оно прикасалось к земле — человек покорно ложился и ждал рассвета, сомкнув тяжелые веки. По молчаливому знаку пылающего божества он поднимался и продолжал свой путь, нацеленный в никуда. На зубах поскрипывал песок, во рту иссушенной ящерицей ворочался язык, таё воспоминания о влажных ягодах винограда. Но вокруг простиралось сплошное царство сухих трав и соленой воды. Человек нес свои пожитки в ветхой сумке, не тяготившей рук. Из припасов в ней лежал кусок хлеба, сухой и мертвый, как земля под ногами. Бродяга и сам, казалось, вот-вот превратится в ком сухой земли. И

упади он, отдав последнее дыхание ветру, — его сухое тело рассыпалось бы в прах, смешавшись с рыжей землей. Но он все брел вдоль неприступного берега моря, давно привычный к его угрюмым вздохам. Так перекаати-поле движется в неизвестность, гонимое ветром. Он проходил этот путь не раз и знал, что где-то за теми высокими скалами бьет из-под земли прохладный терпкий ключ.

Сначала ветер принес людские голоса и запах дыма. Путник зашагал живее, предвкушая близость воды, и, наконец, вдали замелькало пестрое людское сборище.

* * *

Старый джип, покрытый толстым слоем дорожной грязи, с легкостью зверя преодолевал ухабы разбитой извилистой дороги. Мужчина вел машину с небрежной уверенностью. Ржавая пыль проникала сквозь приотворенное окно, досаждая женщине, сидевшей рядом. Уже несколько дней они ехали вдоль побережья, изнывая от жары. Страстное желание найти живописное место на безлюдье увлекало мужчину все дальше и дальше. Иногда с высокого скалистого берега виднелась крохотная бухточка. Они находили к ней стертую тропинку посреди крошащихся скальных пород, а джип оставался ждать наверху, как верный пес.

Предаваясь буйствующим волнам, они испытывали первобытную радость. А удовольствия дикой жизни только начинались. Вечерами они подолгу сидели у костра, замороженные вихрями пляшущего пламени. Они созерцали картину звездных знаков, пытаясь разгадать их высший смысл. Спать ложились под открытым небом, вглядываясь в бесконечное черное пространство. Из мириад светящихся точек вдруг срывалась одна, унося чье-то не загаданное желание. В их головах роились мысли, которые казались им ничтожными и смешными перед величием бесконечности. Прекратить их возню было невозможно, и они плясали, подобно стаям зудящих комаров.

Их тела соприкасались в беспомощном поиске блаженства. Но все уже было ведомо заранее, и когда на несколько мгновений удавалось воспарить над собственным телом — казалось, они приближались к великому чуду. Но крик радости был криком отчаянья от невозможности выхода за пределы своего земного естества.

Утомленные вынужденным бездельем и асфальтовой хандрой, они надеялись обрести покой среди безмятежной приморской степи. Но в их глазах таилась тень неизлечимой тоски, и они снова и снова устремлялись в неизвестность.

* * *

Вода была на исходе. Но вдалеке пестрело множество разноцветных лоскутков-палаток. Наверняка люди нашли себе пристанище вблизи пресноводного ручья. Джип преодолел очередной изгиб исковерканной дождями и засухой дороги, и путешественникам открылась великолепная картина. С крутого берега к бушующему морю, пронзая острыми шпилями яркую синеву южного неба, спускались скалы. Темная бирюза прибрежных волн и ослепительная белизна нерукотворных готических башен — все это было наяву. Видимо, Творец задумал это чудо в момент высшего восторга. Среди этой дикой красоты неистово бушевало людское сборище. Запрудив побережье автомобилями, палатками и голыми телами, люди предавались беззаботности и лени. Дым костров, запах жареного мяса, визг купальщиков и детский плач сливались в обычную суету южного пляжа. Джип остановился в стороне, как чужак. Мужчина торопливо снял на видеопленку дивный пейзаж и на его фоне — хрупкий женский силуэт.

Было ясно, что оставаться здесь невозможно. Нужно было лишь раздобыть пресной воды. Выяснилось, источник находился невдалеке. И тогда из багажника бы-

ла решительно извлечена фляга с запасной, уже тепловатой водой. На груди смуглых персиков и перемазанные автомобильными маслами руки полилась очистительная влага.

Плеск воды привлек нищего. Сглотнув сухой ком, шелестя губами, он приблизился к молодым людям и попросил пить.

Водяная оргия была прервана. Мужчина и женщина в оцепенении уставились на странную фигуру. Мужичок стоял, тихо и смиренно ожидая. Фуфайка на высохшем теле, кирза, ветхая сума...

— У вас есть куда налить? — поспешила прервать неловкую паузу женщина.

— Да нету у меня ничего, — простодушно ответил нищий.

Она была смущена и озадачена: дать этому грязному забулдыге прикоснуться своим ртом к их единственной фляге? Как же потом пить из нее... Нищий ждал.

— Мне бы немного, хлебушка размочить, а то высох он совсем, да и во рту тоже...

Вдруг что-то болезненно екнуло в сердце женщины, и потянулась от него тоненькая жилочка, вот-вот оборвется, и тянет, тянет ее с кровью махонький паучок... Она пристально посмотрела на бродягу.

Он был еще не стар. Его телогрейка серым пятном маячила посреди пестрого убранства диких пляжников. Губы его раздвинулись в улыбке, обнажив беззубый рот — полустарческий, полумладенческий. Держался он просто и прямо, не было в нем ни унижения, ни нищенской скорби. Его голубые глаза безмятежно смотрели на женщину, и она, встретив его взгляд, почувствовала давний, забытый в далеком детском сне, трепет.

Очнувшись от тяжелого оцепенения, она протянула ему флягу. Старец припал к ней истрескавшимся беззубым ртом. На мгновение ей показалось, что она сама

сейчас пьет, не в силах утолить свою неумемную жажду. От отвращения не осталось и следа, что-то смутное из того детского давнишнего сна вдруг проявилось с новой силой и, подобно вспышке, обожгло и осветило сознание. Глаза ее затуманились, она неловко пролепетала:

— Вам не жарко? Здесь можно легко спуститься к воде... Вы бы искупались...

— Ну что вы, здесь же люди отдыхают, как же мне... Я пойду дальше, где-нибудь найду себе местечко...

И не было в его словах ни обиды, ни горечи, ни деланного самоуничтожения. Глаза его были ясны, светло и просто смотрели они на женщину. Он покопался в своей сумке, — такую носила лет двадцать назад ее бабушка. Вытащив засохший кусок хлеба, странник принялся поливать его водой. Затем он возвратил флягу и не поблагодарил. И в этом было что-то очень простое и мудрое. Женщина поняла это и была признательна нищему за молчание. Ей самой хотелось благодарить его, но слова застревали в горле. Она лишь протянула ему половинку арбуза. Старик опять принял подаяние просто и хорошо, без затертых слов.

— А куда же вы идете?

— Тут неподалеку есть источник, говорят, километрах в десяти всего.

— А потом?

— Никуда. Я просто хожу вдоль моря, дохожу до края и возвращаюсь обратно.

— Вы бы нанялись сторожить виноградники, здесь их много...

— Да, виноградники — это хорошо, да только какой с меня сторож? — и ни хитринки, ни горести в его чудном взгляде. — Ну, пойду я... Идти мне надо.

— Счастья вам, дедушка!

— Счастья? А зачем оно мне? — мягко улыбнулся странник. — Это вам оно нужно, это счастье — у вас у всех семьи, дети, машины... Вам счастья!

И он продолжил свой путь, нелепый в своих тяжелых сапогах посреди южного зноя, поразительно легкий, свободный от сует, свободный от вчера и от завтра, свободный от счастья.

Женщина проводила долгим взглядом странного нищего. Смятение переполняло ее душу. Хотелось броситься за ним вслед, дать ему в дорогу хлеба, персиков, флягу с водой... Она вопросительно взглянула в глаза мужу, который до сих пор молча наблюдал за происходящим.

— Давай догоним его, — ответил он с несвойственным ему волнением. — Что же мы не догадались хотя бы подвезти его к источнику, дать ему денег...

Мотор бархатисто зарычал, и автомобиль ринулся в погоню, путаясь между палатками и голыми телами.

Но старик словно испарился. Тщетно его поджидали и у источника. Долго еще вилял джип по пыльным крымским дорогам. Но странник словно растаял в мираже.

Может быть, его испепелило солнце, и тело его превратилось в дорожный прах, а равнодушный ветер разнес его по миру, даря ему долгожданное освобождение и от жажды, и от бесконечной дороги, нацеленной в никуда.



«ЗЕФИР, FRAGILE¹...»

Памяти тех, кто посвящают себя
служению животным.

— Деточка, ну нельзя же быть такой ранимой. Жизнь — жестокая штука. Бог ведь, что еще может случиться... Сейчас вам кажется, что это самое страшное. Как знать, может быть, потом вам это покажется смешным. Нет-нет, я не смеюсь над вами. Не заливайте слезами клавиши, они боятся сырости. Возьмите же, возьмите мой платок... Поверьте, этот человек не стоит ваших слез. Вы — музыкант, прежде всего вы музыкант, и в музыке ваше спасение. Вас ждет великое будущее, поверьте моему слову. Но сегодня вы заставили рыдать рояль... Оттого у вас ничего не получилось. Музыка просто захлестнула вас, как горный поток. А она должна повиноваться вам. Покажите же ваше мужество! Давайте попробуем еще раз, *pianissimo*, ти-та-ти-та-там...

Профессор протер затуманившиеся очки и отечески положил руку на плечо студентки. Она вытерла слезы, глубоко вздохнула и ее пальцы прикоснулись к клавишам. Старый человек откинулся в кресле и закрыл глаза. Музыка на сей раз звучала сдержанно и строго: Иоганн Себастьян Бах не терпел лишних эмоций. Закончив, девушка с тревогой посмотрела на учителя. Тот ответил не сразу:

— Bravo, детка, я всегда верил в вас. — Голос его слегка дрогнул. — Вы победили. Идите, вы свободны на сегодня. Идите же. Посмотрите, какой снег! Все сбудется...

¹ fragile — хрупкий (англ.).

Снежинки затевали в воздухе замысловатые игры. Огромные и легкие, они заигрывали с прохожими, прикасаясь к их щекам, и тут же умирали, превращаясь в крохотные слезинки.

Она шла, не замечая ничего вокруг, пряча лицо в просторный капюшон черного пальто. Этот прекрасный снежный вечер принес с собой мучительные воспоминания. Голос старого родного человека звучал в ушах так, как будто она только что вышла из класса. Она забывала вытирать слезы, и они больно жгли щеки, замерзая на ветру.

«Возьмите же, возьмите мой платок!..» Старый профессор уже давно почивал в небесных краях...

Внезапный порыв ветра сорвал капюшон с ее головы и, будто зло смеясь, обнажил навсегда застывшую на ее лице гримасу ужаса. Пол-лица было стянуто, перекошено, подобно каучуковой маске, которая покоробилась от близости огня. Она поспешила надвинуть спасительный капюшон неловким жестом покалеченной руки.

Несчастье произошло совсем недавно. Этот вечер был неумолим, и воспоминания, подобно снегу, падали и падали на ее хрупкие, слегка сутулые плечи. Слова профессора сбылись. Первая любовная горечь, казалось, полностью растворилась в музыке. Многочасовая работа — до изнеможения, до полубоморока — не оставляла места ничему другому.

...Успех застал ее врасплох. Она поспешно и неловко кланялась. Цветы летели к ее ногам, а она, болезненно и грустно улыбаясь, все искала глазами в зале того единственного человека, для которого играла.

С годами это превратилось в неосознанную привычку: искать в толпе кого-то, в ком было хотя бы легкое

сходство с тем гибким мальчишеским силуэтом, с неповторимым жестом его тонких рук... Мучительный призрак прошлого с большими дерзкими глазами на бледном смущенном лице преследовал ее повсюду. И однажды судьба лукаво подбросила ей грубую подделку, и она беспомощно поддалась обману.

* * *

Каждый раз, задыхаясь от волнения, легко прыгая через ступеньку, она взлетала на третий этаж старого грязно-зеленого дома. Дверь открывалась еще до того, как она прикасалась к звонку. И он уже стоял на пороге: длинные шелковистые волосы, смешной подбородок с родимым пятнышком, неповторимое смущение широко распахнутых глаз... Она сумела отыскать среди тысяч лиц то единственное, которое создавало мучительную иллюзию возврата прошлого. Этот юноша разительно напоминал ее единственного избранника, и время было пущено вспять.

Все разумные доводы рассудка умолкли перед сумасшедшим вихрем прорвавшихся чувств. Она целовала его, как целуют ребенка, которого однажды потеряли в толпе, а спустя какое-то время, уже почернев от горя и отчаянья, внезапно нашли. Его юному самолюбию льстило, что эта женщина, от которой веет ароматом успеха, теряет самообладание, прикоснувшись к нему. Но иногда червячок собственной ничтожности тихонько точил его душу.

Однажды, возвратившись с гастролей на день раньше, взбежав на третий этаж его дома, она долго звонила, и сердце сжималось от недоброго предчувствия. Дверь отворилась. На пороге стояла какая-то девушка с невыразительным лицом. Близоруко щурясь, она, кажется, что-

то спрашивала. Его лицо мелькнуло в дверном проеме, бледное и растерянное... Но она уже неслась вниз, ничего не видя перед собой. Ее неистовый бег был прерван страшным ударом. Визг тормозов, мокрый липкий асфальт и крошечная тьма.

...Он пришел, когда она все еще была без сознания. Бледный, напуганный, он переминался с ноги на ногу, не узнавая в этом неподвижном, изувеченном теле ту женщину, красивее которой он не знал. Неловко оставив на больничной тумбочке апельсины и цветы, он попятился к двери и больше не пришел. С тех пор она ненавидела эти бессмысленные оранжевые шары и не выносила срезанных цветов. Цветы навсегда исчезли из ее жизни вместе со сценой — изувеченная рука больше не смогла прикоснуться к клавишам.

* * *

...Сначала были проданы большие старинные зеркала, затем — дорогие концертные платья и сверкающие бриллиантами украшения. Остался еще рояль, угрюмый и молчаливый. Она больше не открывала его. По ночам ей снилась музыка. Там, во сне, ее лицо все еще оставалось неуязвимым, руки легко бегали по клавишам, и гремел аплодисментами зал. И среди множества лиц сияло его восторженное лицо с дерзкими серыми глазами. Она просыпалась в слезах и долго оставалась в постели, не желая возвращаться в очередной безрадостный день.

Рояль был продан за бесценок первым попавшимся людям. Она взяла деньги, даже не взглянув на них, не произнеся ни слова.

С того дня ее стала посещать недобрая тень болезни. Она подкрадывалась по ночам, становилась у изголовья, склонялась все ниже, а потом укладывалась чер-

ной жабой у нее на груди и безжалостно давила на сердце, не давая перевести дыхание. Было очень страшно, но некому было прогнать эту мразь. Друзья, которых и раньше было немного, виновато потупившись, исчезли из ее жизни.

* * *

Близилось Рождество. На душе стало необычайно светло и тихо. Накануне ей приснилась «Импровизация» Грига. Она вышла на скромную сцену детской музыкальной школы, с неловкой грацией путаясь в полах непривычно длинного платья.

В эту ночь душная черная мразь не посмела прийти к ней.

С самого утра в душе зарождалось радостное предчувствие. Она редко выходила из дома, но сегодня ей захотелось устроить себе маленький праздник, и она отправилась в магазин за сладостями.

Пряча лицо в просторном капюшоне, она ожидала своей очереди. В магазине былолюдно и суетно, и обычная тоска уже тихонько подкрадывалась к ней. Вдруг она почувствовала легкое движение воздуха, будто подул мягкий ветерок, предвещающий оттепель и близкую весну. Что-то странное происходило у нее за спиной. Сердце ее тихонько заныло, и она почувствовала острое желание оглянуться.

...Посреди зала, в пустом пространстве, вдруг образовавшемся среди множества ног, плыло белое облачко. У него были серо-зеленые глаза и розовые уши. Кот ступал неслышно, будто не касаясь земли, и каждый его шаг сокращал расстояние между ним и женщиной в черном пальто. Да, он шел именно к ней, и она, вдруг позабыв о своих бедах, впервые за долгие месяцы улыб-

нулась. Кот сел рядом и пристально посмотрел на нее. Она тоже смотрела на него, как очарованная, чувствуя, как ее тоска растворяется в зеленоватом сиянии его глаз. Ей стало неловко оттого, что она смотрит на него сверху вниз, и она присела на корточки. Кот оценил этот жест и произнес бархатистое «м-р-р-р». Она протянула ему свои руки, и существо ступило в огражденное пространство, а затем, привстав на задних лапах, слегка толкнуло нос женщины своим розовым носом. Она прижала его к себе и поняла, что уже никогда не сможет расстаться с ним. Кот был совсем невесомым, казалось, он весь состоит из одной лишь грязно-белой пушистой шерстки.

В этот день деньги тратились с давно позабытой щедростью. Была куплена самая лучшая кошачья еда и пластмассовая коробочка с белыми крупинками песка, и уже на остаток денег — немного зефира, этой белой пушистой сладости, которую она любила когда-то в детстве.

В этот день в ее дом вошло два счастливых существа. Кошачьи угощения были выложены в старинное фарфоровое блюдо, в хрустальную чашу налита вода, — женщина приготовилась к трепетному удовольствию созерцать, как утоляет голод истощенное животное. Кот ел не спеша, с поразительной деликатностью, как будто это было не самым важным его занятием. Съев пару хрустящих кусочков, он взглянул на женщину, и веки его миндалевидных глаз слегка закрылись и открылись опять, благодаря за угощение.

Он обошел все комнаты, изучая по запаху предметы, узнавая каким-то непостижимым образом все о женщине, которая жила здесь. В какой-то момент он напрягся, тревожно потянул носом, и, вытягивая струной свое тонкое тело, приблизился к тому месту, где недавно стоял рояль. Здесь он остался надолго. Ноздри его продолговатого носа шевелились, высокие уши подергивались,

время от времени он вопросительно поглядывал на хозяйку. А затем он улегся на пол, подвернув под себя передние лапки и горделиво откинув голову. Женщина была ошеломлена. Она села рядом, и они долго глядели друг на друга в молчании: женщина — с грустной нежностью, а кот — с восхищением. И она поняла, что он любит ее: сквозь хрупкую, уязвимую телесную оболочку он видит ее душу.

— Зефир!

Кот отозвался на свое новое имя бархатистым звуком. Она впервые пожалела, что был продан рояль, она играла бы сейчас даже одной рукой — для него. Кот подошел к ней и принялся тыкаться ей в глаза, в уши, в нос своей умной, серьезной мордочкой, словно утешая ее. Счастливая догадка осенила ее: она сможет петь для него! Кот пришел в восторг от виолончельных звуков ее голоса и еще больше начал ластиться к хозяйке. Она нежно гладила его тоненькую шейку, и ее пальцы почувствовали, как по горлышку зверька заструился золотой ручеек. Она схватила его на руки и закружилась по комнате.

* * *

Подошел Святой вечер. Она налила себе красного вина. Белые воздушные сладости громоздились снежной горкой на серебряном блюде. Но прежде, чем приступить к скромной трапезе, она встала — ей впервые захотелось произнести благодарственную молитву. Она не знала, как это нужно делать, но слова полились сами собой. Кот наблюдал за ней с нежностью. Вечером его зрачки расширились, и глаза казались почти черными.

Впервые в ее беззвучном пустом доме среди ночи раздавались еле слышные шорохи: здесь поселилась еще одна маленькая душа, бросив вызов тоске и одиночеству.

Зверек нашел себе место для ночлега в уютном мягком кресле. Женщина посмотрела на светлое пятнышко посреди мрака и заснула, счастливо улыбаясь. Проснувшись утром, она уже знала, что ее ждет что-то необыкновенно хорошее.

— Зефир, — тихо позвала она, и его звонкое «м-р-р» означало не иначе как «здравствуй». Она гладила и сжимала его хрупкое тельце и произносила нежно: «Зефир, fragile!..» Кот был сильно истощен, его шерстка сбилась, в ней копошились мелкие черные твари. Женщина не заметила этого поначалу. Решительно была набрана ванна с пенящимися радужными пузырями. Кот принял процедуру кротко, его глаза доверчиво смотрели на человека. Ловкие пальцы бегали в пушистых зарослях кошачьей шубки, и ни одна кровососущая тварь не избежала участи быть смытой в ад водосточных труб. Тонкий лебяжий пух, намокнув в воде, обнажил тощее розовое тельце, дрожащее от холода, но глаза кота были безмятежны. Зефир относился с пониманием к каждому шагу своей возлюбленной, и даже противно дребезжащий фен не напугал его — так спокойно и убедительно женщина произнесла: «Все хорошо, милый».

После мытья Зефир стал ослепительно белым. Но бродячая жизнь, видно, далась ему нелегко. Его шерстка осталась тусклой и помятой, а запавшие бока придавали ему чахлый и болезненный вид. Но для нее это существо казалось самым изысканным, самым великолепным, и она благодарила Бога за удивительный рождественский подарок.

* * *

По утрам Зефир затевал неистовые игры. Он носился по дому, «буксуя» по скользкому паркету. Не вписываясь в изгибы узкого коридора, он пробегал несколько шагов

по стене, и, оттолкнувшись от нее лапами, делал дикий скачок вверх. Белой молнией нырнув под диван, он замирал там, сверкая неукротимыми глазами и гортанным голосом звал свою возлюбленную. Она мгновенно превращалась в дикую кошку. Ползя на четвереньках, воинственно выгибая тело, она ждала нападения. «Страшный хищник» внезапно обрушивался ей на спину. Старательно притворяясь напуганной, она с воплями убегала в другую комнату. Найдя место для засады, она в свою очередь посылала коту протяжный вызывающий клич. Хитро щурясь, она наблюдала, как зверь уже крадет, театрально изображая полную беспечность, — а на деле готовясь к тому, что громадная дикая кошка вот-вот со зловещим шипением схватит его за загривок.

Когда женщина уставала от игры, она произносила дружеское «м-р-р», и Зефир тут же превращался из хищного охотника в славную домашнюю кошечку. Один взмах век — и его напускной свирепый взгляд становился приветливым, но где-то на дне его изумрудных линз все еще таилась крохотная лукавинка. Он тут же начинал ластиться, «сверля» своим благородным носом ушную раковину своей подруги, и от страстности маленького зверька у нее слегка кружилась голова. Но тут же она вскакивала, опять вовлекая его в игру, и он, с пониманием принимая вызов, надевал маску холодного безжалостного хищника.

Иногда ради игры пускалась в ход длинная нитка жемчуга. Женщина садилась посреди комнаты, потурецки скрестив ноги и, перехватывая бусы из руки в руку, катала их по полу вокруг себя. Зефир не отрывал глаз от этого блистающего чуда, которое пресмыкалось, подобно перламутровой змее. Его зрачки расширились, вычисляя правильную траекторию прыжка, но прыткая змея каждый раз ускользала, и кот пускался за ней вскачь, клая коготками по паркету.

— Зеф! — кричала женщина, — держи! — и пускала жемчуг вдоль длинного коридора и смеялась над тем, как кот скользит какое-то время на месте, не в силах оторвать своих атласных лап от скользкой плоскости. Она любовалась им, и он смешил ее. Пожалуй, никогда ей не приходилось встречать такого удивительного сочетания смешного и прекрасного. Избавившись от своих зеркал, женщина почти забыла о своем изувеченном лице. Она словно превратилась в ребенка. Только в детстве в их строгом доме кошкам было не место. Да и с детьми она играла очень мало, так как всегда спешила на уроки музыки, волоча за собой огромную папку с нотами.

Иногда Зефир становился нелюдимым и задумчивым. Тогда она садилась рядом и тоже грустила. Шершавый ком воспоминаний делал ее дыхание прерывистым. Кот вздрагивал, подходил к хозяйке и нежно «бодал» ее своей умной мордочкой. Тогда она ложилась на диван, и он устраивался на ее на груди, положив голову ей на подбородок. Он направлял на нее свои длинные вибриссы, будто пытаясь осязать ее всю, защищая от чужого и страшного. Она ласкала шею удивительного животного, и поток безудержной нежности переливался в его золотом горлышке.

* * *

Однажды ночью к ней опять пробрался давнишний непрошенный гость, зловещей тенью навис у изголовья, и женщина начала задыхаться от боли и страха. Ей казалось, будто чьи-то цепкие безжалостные руки вынимают ее сердце и протаскивают его сквозь тесный темный тоннель. Ее грудная клетка судорожно вздымалась, но дыхание не могло прорваться. Ощущая ужас подходящей агонии, она хрипло крикнула: «Зеф!». А кот уже готовился к

схватке. Он весь напрягся, шерсть на нем вздыбилась, ноздри свирепо раздувались. В нем зрела холодная расчетливость зверя, готовящегося к смертоносному прыжку. Его пасть раскрылась со зловещим шипением, прыжок — и сильные лапы мягко приземлились возле дрожащего тела женщины, и пушистое легкое существо прильнуло к ее груди. Тотчас же пришел спасительный глубокий вдох, страх ушел прочь, и боль отступила.

С той ночи Зефир всегда спал рядом с ней. В один и тот же час он произносил свое звонкое кошачье словечко, приглашая ее ко сну. Он забирался под одеяло и заводил тишайшую в мире колыбельную. Страшная черная тварь не смела приближаться к ней, охраняемой строгим белым стражем.

* * *

В конце марта мягкий западный ветер стал нашептывать кошкам нежности. Зефир тревожно вздрагивал, слыша их призывные ночные вопли. Потихоньку он стал тосковать и проситься на улицу.

Чтобы его развлечь, она выезжала с ним за город. Разбуженная ласковым ветром травка уже кое-где проколола слой прелых прошлогодних листьев. Поначалу Зефир был ошеломлен огромным простором и непривычными лесными запахами. Он испуганно вздрагивал и припадал к земле. Стая серых ворон слеталась посмотреть на нездешнего зверя, раздраженно обсуждая нелепую франтоватость его белой шубки.

Вскоре Зеф привык к лесным прогулкам и радостно приветствовал уже знакомые кустарники, потираясь о них мордочкой и мечтательно закрывая при этом глаза.

Эти прогулки доставляли его хозяйке особую, ни с чем не сравнимую радость. Непоправимые потери отда-

лились, она чувствовала себя счастливым ребенком. А весна с каждым днем ступала смелее, и голубое небо распахнуло над тонкой сеткой леса свой высокий купол. И стоголосый птичий гам уже звучал в ликующем высоком регистре. Она сливалась воедино с этим буйством пробуждающейся жизни. Как же раньше она могла не замечать чуда сон-травы и прелестного изумрудного мха на черной влажной земле, и серо-зеленого лишайника на стволах деревьев, и маленькой божьей коровки, спешащей взлететь к солнцу? Она ощущала себя крохотной частичкой этого жадно дышащего, растущего, непрерывно меняющегося мира и благодарила Бога за каждый миг этой новой чудесной жизни.

* * *

Зефир подолгу просиживал теперь на балконе, подставляя бока весеннему солнцу. Он удивительно похоршел. Его распушившаяся шубка состояла из мягких «перышек», и каждое вспыхивало на солнце алмазной искоркой, подобно свежему снегу в морозный яркий день. Он подолгу вылизывал свою лебяжье-пуховую шубку, внимательно чистил каждый коготок, иногда с клецаньем откусывал износившуюся роговицу, смешно морща при этом нос. Его пальцы с розовыми овальными подушечками растопыривались, показывая растущие между ними шелковые кисточки-султанчики.

Однажды голос Зефира прозвучал с нежной грустью, переходящей в надрыв отчаянья. Свесившись с балкона, он смотрел вниз, где на мусорном баке сидела невзрачная серая кошечка. Зефир бросился к ногам своей хозяйки, увлекая ее к выходу. Грустная и растерянная, она открыла ему дверь. С этого дня коту было позволено пользоваться полной свободой, такой же-

ланной в эти безумные весенние дни. Он возвращался грязный, исхудавший, но безмерно счастливый. Громкими мурлычущими возгласами он благодарил хозяйку за понимание и великодушие.

Но однажды он пришел непривычно тихий, вялый, с потухшими глазами. К еде он не притронулся, только подошел к чашке с водой, но пить почему-то не стал. Он подолгу просиживал возле воды, как замороженный, и голова его тяжело клонилась вниз.

Липкий страх сковал ее душу. Словно во сне, она вернулась в черный плащ, прижав к груди угасающего зверька, и быстро вышла из дому.

* * *

В больнице для зверей стояла печаль. Равнодушный врач с красным лицом и грубоватым выговором, рассеянно слушая женщину, стал наполнять шприц какой-то прозрачной жидкостью. Было страшно смотреть, как игла вонзается в тщедушное маленькое тело.

К назначенному сроку они пришли сюда опять. На этот раз здесь заправляла грубая тетка, которая обслуживала маленьких пациентов так, словно продавала колбасу. Ее словно тесаное топором лицо и маленькие жесткие глазки внушали безнадежность.

По дороге в клинику и обратно женщина говорила Зефиру нежные слова, но он был погружен в себя и не слышал ее. Казалось, он думает о чем-то далеком, непостижимом, и в его отстранении ей чудилась странная тихая радость. Быть может, хрупкому нежному зверьку не место в этом жестоком грязном мире? Наверное, где-то очень далеко, не на Земле, звери находят себе посмертное пристанище. Там нет злых людей, обрекающих животных на бездомность, нет голода, грязи и болезней...

Там благоухают заросли цветущих кустарников, их колышет мягкий нежный ветер по имени Зефир. И на мгновение она ощутила, как пустеют ее руки, словно она позволяла ему уйти...

Таксист, отвозящий их домой, все расспрашивал о странном кошачьем недуге, хмурил брови, а потом, хлопнув себя по крепкому лбу, вдруг воскликнул:

— Почему бы вам не обратиться к доктору Н.? Это лучший в городе диагност и человек он прекрасный. А эти мерзавцы!.. Ведь им наплевать и на животных, и на людей. Они когда-то мою собаку сгубили...

Клиника доктора Н. расположилась в аккуратном домике, окруженном небольшим садом, где нашли себе приют несколько бродячих дворняг. У некоторых из них на лапах были шины и повязки — видно, о них здесь заботились на совесть.

Из кабинета вышел строгий господин. Блеснув очками в золоченой оправе, он остановил свои внимательные глаза на женщине в черном, склонившейся над белым котом, болезненно дремлющим у нее на коленях. Что-то очень знакомое показалось ему в ее худощавом силуэте и сутулых плечах, но эта прядь темных волос, закрывающая пол-лица... Он был когда-то частым посетителем ее концертов. Она вздрогнула, когда доктор коснулся ее руки, приглашая сейчас же зайти в кабинет. Попросив своих медсестер оставить его ненадолго, он, почтительно поклонившись, поцеловал руку пианистки, и тут же, перейдя к делу, внимательно принялся слушать мельчайшие подробности истории кошачьей болезни. Он осведомился, где уже лечили кота, как это происходило, и возмущенно покачал головой.

— Если бы вы пришли ко мне сразу... А теперь у нас очень мало шансов.

Медсестра предложила печальной хозяйке кота чашку крепкого кофе, а тем временем над маленьким животным склонились умные, внимательные люди. Их руки виртуозно и слаженно работали, совершая замысловатый ритуал исцеления.

* * *

...Дома она не отходила от Зефира, старательно выполняя все предписания врача. Прошло несколько тоскливых дней и тревожных ночей, а кот оставался все таким же безучастным. Но однажды днем, вздремнув после бессонной ночи, она была разбужена тихим «м-р-р». Зефир смотрел на нее своими ясными серо-зелеными глазами. По его горлышку, догоняя друг друга, катились золотые капельки. Она молилась со слезами радости, благодаря Бога за спасение. Вскоре ослабленное животное уснуло, свернувшись клубочком, его сон был глубок и сладок. Так он проспал до сумерек. Она дремала рядом, мечась в бредовых сновидениях. И вдруг ее разбудил протяжный утробный крик. Вскочив, она увидела, как Зефир ворочается на полу, странно выгибая тело, будто сражаясь с чем-то невидимым. И это чудовище одолевало его, и лапы кота беспомощно бились в воздухе.

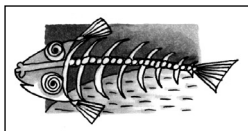
Она ринулась к телефонному справочнику, где среди сотен телефонов, обслуживающих человека, был один единственный для нужд животных. Задышавшись, она набирала номер скорой ветеринарной помощи и спешила прокричать адрес, но ее тут же прервали, и голос с неприятным грубым выговором отрезал, что таких как она много, а скорая помощь на весь город одна. И под бездушный аккомпанемент коротких гудков она увидела — Зефир лежит уже неподвижно, странно выпрямившись. Она бросилась перед ним на колени, словно умоляя не оставлять

ее одну. Тельце было еще теплое и мягкое, но широко открытые глаза бессмысленно уставились в пустоту и медленно стекленели, как осенняя вода в пруду.

Долго просидела она возле маленького бездыханного тела своего единственного друга. В голове гудела странная щемящая пустота. «Зефир, Fragile!», — шептала она, не в силах плакать.

Ночь подкралась незаметно, просочилась липкой чернотой, окутав, но не согрев двух одиноких существ, беспомощно ждущих чего-то на полу ставшего склепом жилища.

И когда уже погасли все светящиеся квадратики в уснувших домах, — давний зловещий гость на сей раз смело и властно вошел в осиротевший дом и тяжелым могильным камнем улегся на сердце женщины. Было тщетно звать на помощь — душа ее маленького защитника уже летела в дальнее небесное пристанище, увлекаемая нежным, мягким ветерком по имени Зефир.



ЖЕЛАЮСЧАСТЬЯ. ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ

*«Из мешка на пол
рассыпались вещи,
и я думаю, что мир —
это только усмешка...»*

В. Хлебников

Я открываю дверь — в глубине сумрачного коридора светится расплывчатое пятно. «Ну, привет, что ли?» — в ответ пятно изменяет форму, и вот уже длинная тень, не спеша, движется ко мне. Я не делаю нетерпеливых жестов, и в тщедушном теле растет достоинство маленького самурая. Полоса света скрадывает его свечение, я оказываюсь под прицелом ясных зеленых глаз.

...Уже давно за полночь. Дрожа от холода, заползаю под дряхлое одеяло, вслед за мной ныряет светлая тень. Меня придавливает что-то живое и шелковое, в ухо вливается кошачье журчание, и невесомой пуховой подушкой меня душит сон.

* * *

Я открываю дверь — мне в лицо зло смеется ветер. Я защищаюсь мохнатой варежкой. До метро идти двенадцать минут без каблуков, с каблуками — пятнадцать. Но уже в середине пути я чувствую себя альпинистом, смятым снежной лавиной. Альпинист жив, я тоже. Но мне не дожить до апреля. Так я каждый раз думаю в декабре.

Я толкаю стеклянную дверь метро и становлюсь частичкой людской массы. Стоимость каждой частички —

пятьдесят копеек. Я не хочу *«сливаться с ними, с согражданами моими»*¹. Наверное, никто из них не хочет. Украдкой я ищу того, кто сопротивляется этому массовому соитию. Я страшусь человеческих глаз. На лицах тоска и отчуждение. Я хочу выйти из этого круга и погружаюсь в сон.

Дверь захлопывается за мной и двадцать этажей в движущемся кубическом пространстве можно назвать еще одной главой из моей жизни. Здесь я успеваю придумать небольшой текст, который будет озвучен мною в ближайшие двадцать минут. Но этот набросок я поменяла бы сейчас на плитку шоколада с орехами. Я прохожу мимо кафе, где пахнет ароматным табаком, и нахожу себе местечко в забегаловке, где дым позловоннее, а кофе подешевле. Я проглатываю кислую горечь, но больше всего мне хочется золотое веснушчатое яблоко.

* * *

Все, что осталось от меня к вечеру — сутулящееся пальто и потребность дойти домой. В синих сумерках я вижу, как по мосту медленно движется моя оболочка. Дополняет картину черное граффити деревьев. Среди голых ветвей абрикосового дерева нарисовались два грача. Безумные — они выбрали ночлег у дороги, вровень с человеческим ростом. Они сидят «лицом к лицу». Стало быть, у них любовь. Я чувствую себя черным пятном в пейзаже и спешу уйти из кадра.

Посреди моей прихожей, на полу, лежит черный целлофановый пакет, подаренный мне шутки ради моим дру-

¹ Аллюзия на песню группы «Аквариум» «Иванов на остановке»:

«И ему не слиться с ними,
С согражданами своими —
У него в кармане Сартр,
У сограждан в лучшем случае — пятак».

гом-оператором. На нем желтыми буквами, слитно, глаголет надпись: «ЖЕЛАЮСЧАСТЬЯ!». Производителям полиэтилена чужды правила грамматики, а на редакторах экономят не только на телевидении. В таких мешках следует хранить трупы, вернее, трупики. Маленькие засушенные трупики бывших возлюбленных. Если б я была Белоснежкой, я могла бы спрятать туда своих увядших гномиков. Но в моем мешочке бережно сложены большие и маленькие коробочки: любимые фильмы, любимая музыка. Я пытаюсь устроить себе вечер воспоминаний. Я пытаюсь — я пытаю себя...

...Я начисто лишена способности смотреть кино со своим возлюбленным. Нужно приноровиться вовремя поворачивать к нему голову и смеяться в нужных местах. Мои комментарии должны быть предельно короткими, главное — всем видом показывать, что я разделяю с ним его телерадости. На самом деле мне по душе совсем другие удовольствия, но ждать остается часа полтора, если потом не начнется футбол. Я напоминаю себе статуэтку, которую держат на полке и снимают в редких случаях. Сама статуэтка лишена возможности передвигаться и проявлять желания, посему стоит в забытьи и покрывается пылью. Если бы она однажды заговорила — ее просто уронили бы на пол от удивления, ведь этой красивой вещице не положено иметь своих желаний. Я заговорила и теперь я — разбитая статуэтка.

* * *

Я слышу дверной колокольчик. Да, конечно, это он — пришел за вещами, за теми, что хранятся в зловещем кулке. Да-да, вещи — это зло. Церемония продлится недолго, он намеренно не приносит их много в мой дом.

Он ждет за дверью, в темноте его волосы цвета платины существуют будто отдельно от него. Я должна сказать какие-то слова, чтобы не показаться хрупкой и ранимой. Но я забыла текст. Я стою перед ним молча и разглядываю его лицо. Оно всегда нравилось мне: узкое, с зелеными глазами, насмешливые губы приоткрываются немного наискось, длинные, лунного цвета волосы... Я даже забыла, что от меня сейчас требуется только одно: вернуть ему кассеты. Но, кажется, мы оба догадываемся, что расставание лишено всякого смысла. Мы вытряхиваем содержимое черного пакета с ущербной надписью и начинаем слушать «Poison» и, кажется, что из «Асепт». Мой кот мало сопротивляется, танцуя со мной рок-н-ролл. Его бездонные глаза говорят, что человечья суета не стоит выгоревшей свечи.

Перед нами открывается окошко, и чья-то рука выкладывает сигареты и подслащенную дешевую водку. Раньше мне не пришло бы в голову пить такую дрянь. Мы смеемся, мне совсем не холодно.

* * *

...Двери поезда захлопнулись. Мои легкие сожжены быстрым бегом. Я падаю на жесткое сиденье. Поезд трогается и увозит меня совсем в другую сторону. Я чувствую, как в сердце обрывается какая-то главная ниточка. Этот сон повторяется с мрачным постоянством уже много лет. Варьируются лишь детали. Иногда я вижу хвост уходящего поезда, иногда рейсовый автобус увозит меня в противоположном направлении. За окном мелькает чужой пейзаж и это сводит меня с ума. Для моих невидимых палачей, демонстрирующих это ночное кино в моем уставшем мозгу, важен результат: ощущение отчаяния и пустоты.

Я вскакиваю со своей жесткой постели. Меня бьет озноб. Не раскрывая глаз, пробираюсь в ванную и стою под горячим потоком воды, пока не слабеют ноги. Но холод живет у меня внутри. Я пытаюсь подсмотреть за собой и вижу в зеркале чужое лицо, глаза, застывшие в мертвой точке, на дне зрачков притаились два озябших испуганных зверька.

Звонит будильник. Я ныряю под одеяло и прижимаю к себе живое, горячее тельце. Платиновая шерстка, зеленые глаза... Он вливает мне в ухо свою кошачью песнь песней, и мы воспаряем над постелью, над домом, над городом... Я и он — единая невесомая субстанция, вышедшая за пределы каких-либо определений.

...Где-то внизу опять звенит будильник, но он будит кого-то другого, не меня. Самое время забыться сном на Земле, но бодрствовать за ее пределами.



«ТО, ЧТО НИКОМУ НЕ СКАЖУ...»

Притаился: маленький, хищный, злой, — в любое мгновение готовый разбить тишину резким дребезжащим криком. «Да! Да!! Алло!!! Я слушаю, слушаю... Что?! Не может быть... Боже!..»

Ночь была разорвана в клочья. Едва дождавшись рассвета, она ринулась в путь. Доведенный почти до кипения мотор гнал машину по еще сонной трассе. В голове зияла пустота, а от сухих бессонных глаз не ускользала ни одна выбоина асфальта. Замечая на обочине раздавленных зверушек, она на секунду прикрывала веки и зачем-то считала их. К концу дороги их набралось, кажется, восемь, и кошек было почему-то больше, нежели собак.

Знакомые с детства больничные сосны печально качали головами в серых облаках. «Мама, это я, ты узнаешь меня? Поедем домой, мама, пожалуйста. Здесь очень плохо, этот спертый желтый воздух убивает тебя. Вставай, мама, держись за мою руку... Ничего, ты тоже одевала меня, когда я была маленькой... Не бойся, я держу тебя, я очень сильная, мама. Еще немного осталось, я подогнала машину прямо к ступенькам. Да, я научилась, она слушается меня, как преданный пес. Нет, я не плачу, мама, у меня больше нет слез. У меня умер возлюбленный, мама. Не волнуйся, я сама закрою эту дверь.

...Скользко, это прошлогодние мокрые листья... держись, я рядом. Смотри, уже цветут подснежники, они разбрелись по всему саду! В темноте наверно они светятся, как эльмовы огни. Но почему эльмовы, кто их видел? Просто огоньки, белые огоньки, которые показывают до-

рогу к дому. Тропинка такая узкая, я боюсь оступиться и услышать хруст подснежника под ногой. Когда-то я таскала с клумбы цветы (я была тогда несмышленной крохой), и ты сказала мне, что цветам тоже больно, когда их срывают. Ты забыла об этом. А я с тех пор больше никогда не рвала цветов. Скоро будет весна, мама, да что я говорю, весна уже наступила! Но *его* нет со мной, и весна умерла для меня, не родившись.

...Лучше этих цветов на земле не бывает. Помнишь, ты, послала меня на базар за продуктами, а я на все деньги купила подснежников. Они были обречены умирать в душных людских жилищах — я выкупила их у смерти. Они продавались с корешками-луковичками, и эта давало им чудесную возможность пить земную влагу, просыпаясь каждой весной снова и снова... Я высадила их в нашем саду, как они разрослись с тех пор! Ты тогда совсем не ругала меня. Ты редко не ругала меня, мама. Тебя всегда раздражало во мне все: и мои длинные непокорные волосы, и весь мой небрежный вид, и полное нежелание взрослеть, и безнадежное неумение копить деньги, и моя беспомощная рассеянность на кухне, и мой дом, где частенько находили приют бездомные звери и люди. А я всегда оказывала тебе сопротивление и иногда бывала права. Помнишь, как ты повела меня к доктору, чтобы тот убил моего ребенка? Доктор посмотрел мне в глаза и сказал, что не сможет отнять его у меня. Я думала, что никогда не прощу тебе этого. Я дала себе слово не звать тебя в час, когда мой ребенок станет проситься в этот мир. Но когда подошла последняя точка боли, я, кусая губы, стесняясь кричать, невольно произнесла это смешное двусложное детское «мамма»... Ты была всегда такой маленькой, слабой, ты жила с оглядкой и больше всего боялась, что скажут люди. Я же не боялась ничего, и в этом было наше не-

исправимое различие. С годами нам просто не стало о чем говорить... Мама, ложись, я постелила тебе. Ты озябла, я укурю тебя потеплее. Ты так молчалива, ты никогда прежде не была такой. Ты не станешь больше корить меня... Я столько лет боялась пожаловаться тебе хоть на что-нибудь. А сейчас, когда ты уже не слышишь меня, я поведаю тебе то, что не скажу никому.

...Его тело было покрыто восхитительной шелковой шерсткой. Я никогда не бывала так счастлива, мама, как в те редкие минуты, когда моя голова лежала у него на груди. Как хорошо, что ты молчишь, мама. Твои губы, как всегда, прямые и непреклонные. Я знаю, ты сказала бы, что я гадкая, гадкая... О, ты даже не можешь себе представить, как можно совсем сойти с ума, и, встретив его глаза, закрыть свои и пить его нектар, и чувствовать, как поднимаешься высоко над землей... Я уже вижу гримасу отвращения на твоём лице.

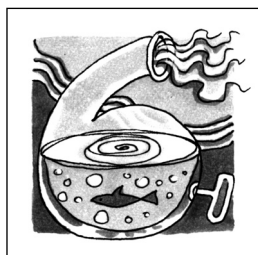
Теперь у меня все в порядке, у меня больше нет любимого. Но и меня больше нет... Еще ложечку, мама, это отвар из целебных трав с медом, это лучше того, что впрыскивали в тебя в тех желтых стенах. Не беспокойся ни о чем, тебе нужно поспать. А я давно уже боюсь спать, мама. Каждую ночь я вижу его во сне. Я вижу танец его рук на вечерней стене, слышу его голос, чувствую его горячее прикосновение. Мне снится это каждую ночь, я боюсь просыпаться, мама, я узнаю тогда правду. Я каждое утро заново узнаю страшную весть: мой возлюбленный умер.

Нет-нет, он иногда звонит мне и, кажется, я навсегда обречена ждать его звонка. Но его больше нет со мной. Как хорошо, что ты не слышишь меня, мама, — твоё лицо подернулось бы сейчас гневным недоумением. Иногда мне казалось, что он — мой младший брат, я и сама становилась с ним девчонкой. Мы играли в прятки в

закоулках моей квартирки, как шkodливые дети, переворачивая все вверх дном. Мы мчались наперегонки вверх по лестнице, прыгая через две ступеньки, мы носились, как угорелые, на роликовых коньках, и толпа шарahalась от нас... Легко, игриво, как рыбка-малек, я ускользала из сетей своего супружества; я была неуязвима для угрызений совести в своем счастливом безумии. Теперь у меня уже все в порядке, мама. Но я осталась все тем же непослушным ребенком. Непослушных настигает наказание, не так ли? Но я узнала еще и то, что боль вытесняет чувство вины. Я уже свободна от вины, мама. Но почему же я не свободна от боли?!

...Смотри, к нам в окно заглядывает белка! Она косятся на меня крупным черным глазком. Она невесомо скользит по тонким, еловым веткам, вспыхивая рыжим огнем в солнечном луче. «Зверюшка, Зверька, Зверечка!..» Так никто больше не будет называть меня, мама. Брошенные зверьки болеют и умирают с горя. А я — еще живу? Мое тело такое легкое, невесомое, оно чужое мне, не нужное, как и все вокруг. Я никому не скажу об этом, и никто не узнает, что я уже мертва.

...Мама, твои глаза мутны и бессмысленны, ты уже почти не чувствуешь боли. Как я завидую тебе, мама! Прости...».



ДЕВОЧКА И ЛЕС

Прозрачные капельки катились из-под белесых ресниц, растекаясь мутными ручейками на грязном личике. Растрепанные белокурые косицы, тонкие стебли рук и ног, изодранное колючим кустарником линялое платьице...

«Посмотри на себя, ну просто бродячий котенок! Где тебя носит целый день?! Опять в лесу? Ну что можно делать в лесу с утра до вечера?!»

Мама еще долго вычитывала девочку, но Оксанка уже не слышала ее: она вынимала из карманов коробочки, из которых доносились таинственные звуки. Там копошилась чья-то маленькая жизнь, которая рвалась из тесноты, шурша мохнатыми лапками. Нет, мама, какое там мыться! Нужно поскорее извлечь их, расправить им крылышки, чтобы не растерять ни единой пылинки их бархатных нарядов. Ну, что мама в этом смыслит? Какая ерунда все эти царапины, и как можно идти кушать, если впереди еще столько незаконченных неотложных дел!

Июньский вечер вливался в распахнутое окно дыханием леса, и что-то таинственное поглощало дома, навевая на людей мохнатую дрему. Девочке хотелось спрятаться с головой под одеяло и скорее погрузиться в свои цветные сны, которые не увидишь ни в одном кино, — и тогда совсем не будет страшно.

Утром лес становился опять светлым и ласковым. Он открывал девочке свои объятия, и она радостно ступала ему навстречу. Его поляны таили в своих ладонях столько тепла и света, что любое зернышко, оброненное легкокрылой птичкой, спешило прорасти и распахнуть навстречу солнцу свои изумленные глаза. От цветка к цветку, трепеща невесомыми крылышками, порхали бабочки. Оксанка

знала их всех по имени. Вот Капустница, такая простенькая и милая, с черными прожилками на белых крылышках. А вот к самым скромным и низкорослым цветам льнет кроткая Голубянка, названная почему-то горделивым именем Икара. А там, заметный издалека, следит за Оксанкиным сачком всеми четырьмя «глазами» бойкий Павлиний Глаз...

Сегодня Оксанке повезло добыть узокрылую и неторопливую Пестрянку с ярко-красными крапинками на темно-зеленом, отливающим металлическим блеском строгим платье. Эта редкая удача еще больше разожгла охотничью страсть маленькой хищницы, и она, продираясь через жесткий дрок, уже не чувствовала саднящей боли свежих царапин. Вот, кажется, послышался сухой треск разрываемой ткани нового платьица, — но она не замечала уже ничего, кроме стремительного полета превосходного Адмирала, именуемого еще величественно и женственно Ванессой. Такая бабочка уже была в ее коллекции, но экземпляр получился неудачным — тогда Оксанка не сумела расправить крылышки своей жертвы и та, умирая, билась так долго и сильно, что пыльца ее яркого убранства осыпалась, и царственная Ванесса превратилась в жалкую нищенку в истрепанном выцветшем тряпье. Учительница зоологии научила девочку «искусству» умерщвления нежных крылатых существ, и теперь Оксанка знала в этом толк.

Затаив дыхание, она кралась за танцующим в воздухе живым цветком, но одно нетерпеливое движение — и добыча выпорхнула из-под сачка и взметнулась ввысь, а девочка в ненасытной жажде преследования пустилась за ней вдогонку, путаясь в высокой траве. Вспугнутая Ванесса выписывала в воздухе зигзаги, дразня девочку и увлекая ее все дальше в гущу леса. Погоня продолжалась, пока Оксанка не начала задыхаться от жжения в легких. Отдышавшись, она оглянулась и вдруг почувствовала себя очень маленькой и чужой посреди величия сосновых стволов, сияющих красным золотом в косых солнечных лучах.

Вдруг по деревьям прошел легкий предвечерний ветер, и они вздохнули грустно и тревожно. Издали, сверля слух, донеслось жаркое тремоло сверчка, и воздух наполнился вечерней усталостью. Даже солнечные поляны потускнели и казались теперь отчужденными и серыми. Весь лес нахмурился, сжался, и бабочки попрятались в складках его древнего морщинистого тела то ли от хищного сачка, то ли от надвигающихся сумерек. Девочке стало тоскливо и страшно. Она уже не бежала, а устало брела среди больших мрачных деревьев, и ей казалось: вон там, за теми густыми кронами, где завис малиновый луч, ее ждет подсказка. Она мучительно пыталась вспомнить, как на уроках географии объясняли что-то про мох на стволах деревьев, который помогает разобраться в сторонах света. Но Оксанка начисто забыла, где же того мха растет больше, с южной или с северной стороны, и было уже полной загадкой, каким образом это поможет ей вернуться домой. Девочка заплакала навзрыд, а лес покачивался, будто убаюкивая ее. Солнце уже зависло совсем низко, зловеще рдеясь в ветвях деревьев. Всхлипываниям девочки вторила равнодушная переключка ворон, которые, тяжелея крыльями, сужали круги в поисках ночлега.

Вскоре стало совсем темно, и в Оксанкиной голове начали оживать все самые нелепые пугалки, над которыми она раньше только смеялась. А ночь все сгущала краски, и маленькое тельце свело судорогой страха. Девочка уже никуда не пыталась идти. Надвинув подол платья на колени, она сидела в оцепенении на старом пне, еще хранившем остатки дневного тепла. Так она и уснула, измученная страхом, утомленная и заплаканная. Лес принял ее и пощадил, навевая на бедное заблудшее существо крепкий сон, охраняющий ее от шалостей озорных лесных духов, и посылая ей добрые сказки, которые берег в своих мудрых древних чащах.

И увидела Оксанка во сне бабочек, которые со всех сторон слетались к ней, окутывая ее радужным облачком.

Они садились ей на руки, на лицо, щекопча мохнатыми лапками нос, стряхивая на ее прозрачную кожу свою драгоценную пыльцу. И вот она уже сама стала легкой, крылатой и парила, парила в воздухе, трепеща огромными роскошными крыльями.

А те, что хранились у нее дома, пригвожденные к траурному бархату, оживали у нее на глазах, стряхивали булавки, без обиды подлетали к Оксанке, доверчиво садились ей на руки и кружились с нею в воздушном танце...

Сон растаял, спугнутый рассветным пением птиц. Девочка проснулась с ощущением небывалой радости. Она силилась вспомнить свой чудесный сон, но он оставался по ту сторону реальности, дразня девочку своей неразгаданностью. Очарованная, она брела наугад в высоких нетронутых травах. И вдруг пахнуло арбузной свежестью, и перед девочкой открылась чаша небольшого лесного озера. Его чистая, прозрачная вода казалась черной от прошлогодних листьев, устилающих дно. Черная жемчужина озера была окаймлена светлым и чистым песком.

Внезапно девочку охватило волнение: над озером кружилась стайка бабочек. Они садились на влажный песок, складывали крылышки, словно руки в молитве, и застывали в блаженстве, утоляя жажду. Манящая невысказанность сновидения вдруг ожила и проявилась с такой силой, что слезы навернулись на глаза. Осторожно и трепетно она приблизилась к ним, но они, чуткие, стремительно поднялись в воздух.

Впервые девочка не почувствовала желания поймать их, пусть бы это были даже сами Махаоны — мечта любого коллекционера. Напротив, ей стало неловко, что она вторглась в их маленький хрупкий мир. Горько и стыдно было думать о том, что она еще вчера бегала за ними с сачком; острая боль пронзила девочку при одном воспоминании о булавках...

Она опустила на колени перед безмятежной озерной гладью и, сложив губы трубочкой, жадно втягивала

чистую влагу, и, кажется, шептала что-то озеру и подлетающим бабочкам, а, может быть, себе самой. И ей показалось, что она была прощена и принята в крылатую мотыльковую стаю.

Встревоженные бабочки опять подлетали к озеру, разворачивали скрученные калачиком хоботки и наслаждались простой водой, как цветочным нектаром. Никогда еще Оксанка не пила ничего лучше этой лесной воды. Умыв свои вчерашние засохшие слезы, девочка пошла, медленно ступая среди зарослей, боясь потревожить лесных обитателей и свое необычное чувство.

Затем все свершилось так быстро, как в сказке: нашлась узкая тропинка, стремительно перешедшая в асфальтовую дорогу. Вчерашние судорожные блуждания казались теперь Оксанке смешными и нелепыми.

Мудрый старый лес, напоив девочку своими добрыми чарами, отпустил ее, выведя прямо на опушку, откуда уже виднелись квадратики городских построек. Потом был автобус, где все с удивлением посматривали на девочку в грязном рваном платье с изумительно светлым лицом, и, наконец, — родной дом и радостные слезы мамы.

Часто-часто мигая белесыми ресницами, девочка закричала: «Мама, мама, ведь они настоящие, живые! Они такие же, как я! Мы вместе пили воду из одного озера!..»

Но мать ничего не слышала: она прижимала ребенка к себе, смутно чувствуя в ее легком теле новую, чудную, радостную силу.



ЖИВОПИСЬ В ПРОЗЕ

«Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее».

«Встретили меня стражи, обходящие город, избili меня, изранили меня, сняли с меня покрывало стерегущие стены...»

Из книги «Песни песней Соломона»

1. Графиня в изгнании

Мои далекие предки с берегов Сены, знающие толк в любовных утехах, дарили своим фаворитам земли, замки и арабских рысаков. Что могу подарить тебе я, изгнанница, кроме бешеного ритма моего сердца?

Знатные славянки с побережья Борисфена расширяли рубахи своим возлюбленным шелковой гладью и золотом. А я украшаю твои одежды цвета индиго узором нашего времени — их геометрия так незатейлива и проста.

Поклонники моих флорентийских прабабушек тешили слух своих избранниц серенадами и поэтическими изысками. Я же сама строю лестницу в небеса из слов и созвучий, но мои песни горьки как дикий мед.

Услышишь ли ты их — уже не столь важно. И нужно ли знать тебе, что дорогая, бирюзовая кровь бурлит в моих жилах? Что стоит она не имения, а доброго моего имени, и (кто знает?) — моей жизни?

И это объединяет меня с моими знатными прабабушками. Ибо крепка, как смерть, любовь, и не измерить ее сокровищами мира.

2. Неотосланное письмо

«Плачь по мне, плачь! Я хочу видеть твои слезы, я хочу слышать твоё прерывистое дыхание, слышать, как разрываются твои легкие, подавляя рыдание. Я знаю, как по-детски беспомощны сейчас твои руки... Плачь для меня! Не люби меня, но оплакивай меня.

Я хочу почувствовать в тебе отчаянье брошенного в толпе ребенка. Я не прошу больше прикосновений, я прошу, как высшую награду: изредка слышать легкий надлом твоего голоса в телефонной трубке, голоса, дрогнувшего от страха, голоса, позабывшего о необходимости лгать.

Это продлится недолго, ты опомнишься и станешь опять скользящей в горном потоке форелью. Ты овладеешь своей тревогой и прогонишь её прочь, как смахивают соринку с безупречной плоскости монитора, как убирают предательски длинный рыжий волос с черного пиджака. И ты опять заскользишь по гладкому паркету, вальсируя словами, легкий, беспечный, нетронутый. Но я уже утолена.

Твой на мгновение дрогнувший голос остался со мной. Ты сказал «нет», и ключ от твоей двери будет болтаться в моей связке со своими железными собратьями, как ненужный дорогой подарок. Ты сказал «нет», но голос твой был наполнен страхом и мукой. И я падаю ниц, благодаря Бога за это шарахающееся «нет!!!» Оно дорожке вожделяющих спокойных «да».

Меня больше нет — плачь по мне. Плачь и прости мой беспомощный обман — но как еще я могла бы рассказать тебе, что имя твое — Любовь, что имя твое — Смерть? Не трать слов, объясняя мне разницу. Не трать слов впустую — плачь по мне.

3. Светлячок

У меня на ладони — светлячок. Я никому его не показываю, это мой маленький огонек, он согревает только меня. Я сжимаю ладонь в кулак, я всматриваюсь в просвет между пальцами, и мир переливается всеми цветами радуги. Это свечение — для меня одной. Я боюсь вспугнуть его. Моя рука дрожит и трепещет, мои губы шепчут нежные слова, которых никто не слышал от меня прежде. Я гляжу сквозь сжатые пальцы, как в калейдоскоп: как меняется все вокруг! Я сбрасываю свое уставшее тело, как надоевшую за день одежду. Кто я теперь? Канатоходец, что пляшет на лунных нитях, преломленных в кронах спящих деревьев. Меня больше нет, есть только свет и танец, танец света и тени, танец пушинки, что летит, играя с ветром. В ней нет сожаления, в ней нет печали, ей неведомы размышления вроде «куда» и «зачем». Она — это ветер, она — это сплошное стремление вверх, в никуда.

У меня нет ничего, потому что все отдано за этот маленький свет, что теплится в моей ладони. И не о чем жалеть, и нечего больше желать, потому что я — это... (он мерцает!) — желание, желание, чтобы продолжалось это странное, ни с чем не сравнимое свечение.

Мое маленькое чудо живет в моих ладонях. Прикоснись к моей руке, может быть, ты узнаешь то, что знаю я...

Никогда так не хотелось жить, никогда так не хотелось умереть. Я чувствую мучительный экстаз жизни, меня охватывает страстный восторг смерти. Нарушая все законы бытия и умирания, переступив через острую грань запретных истин, разбив призрачный сосуд своих чаяний, я поднимаюсь ввысь. Скользя по ломкому льду, теряя крохотные остатки себя и жалкие воспоминания о прошлом, я охвачена лишь одним головокружительным стремлением вверх.

Как смешно было еще вчера удерживаться здесь. Скольжение щекочет мне пятки, меня оглушает бешеное биение сердца. Я чувствую сухое и горячее прикосновение, прикосновение лапок птицы, которая мне верит. Попробуйте-ка прикоснуться к птице! Только что она сидела, доверчивая и близкая. Но это вам только казалось. Вы ласкали ее в своем воображении. Она улетает мгновенно, как только вы представили себе, что она в ваших руках.

Я стряхиваю с себя пылинки всех снов и желаний, я сама превращаюсь в желание, единое и нагое, как небо: пусть в моей ладони всегда живет Светлячок!

4. Богиня охоты

Диана выходит на охоту, юная, как весна, и древняя, как миф. Бережно ставит узкие стопы, оправленные изгибом сверкающих лаком башмачков, на оправившуюся от зимнего недуга мостовую.

Струится в людской толчее, пряча под золочеными ресницами брызги безудержного озорства.

Вспугивает воробьиную стайку подростков, и воздух долго звенит, как лопнувшая струна, переполняясь их злым чириканьем. Диана хохочет, ее бедра расцветают таинственной силой.

Неслышно плывет она трепетной рыбой в людском потоке. Чуткими ноздрями пьет Диана терпкий аромат листьев, преющих в жадных лучах весны.

Дыхание Дианы — в безумстве весеннего цветения. Прикосновение ее рук — и абрикосовый снегопад тихо звенит в безветрии ночи, свечением жемчуга превращая убожество еще нагой земли в бесценную роскошь, достойную постели фараона.

Диана спешит — безжалостный ветер унесет прочь первозданную белизну и припорошит пылью лепестки, обрушенные временем и мохнатыми лапками сборщиков нектара.

Неуязвимая, растворяется Диана в искаженных житейской заботой лицах, и косящий взгляд охотницы собирает щедрые дары. Их глаза прорастают сквозь оплывший пластик масок, как цветы сквозь снег, в них туманятся странные желания, в замедленных движениях ослабевают натянутая тетива губ, и слова текут тающим на солнце шоколадом, а жадный до лакомства язык уже скользит неторопливой улиткой, насыщаясь и млея.

Незаметная, проскальзывает Диана в несмело отворенное окно и застывает над черно-белыми клавишами. Здесь девочка-ребенок страдальчески отработывает гаммы, двигаясь челнокообразно сквозь дизезы и бемоли. Но вдруг, встрепенувшись, она опрокидывает монотонно нарастающий звукоряд и все вокруг поглощает бархат органа, и тело ребенка сливается с ним. Меблированный карточный домик рушится, вихрь прекрасного безумия стирает уныние, расцветившая черно-белые клавиши радужными красками. «Каждый охотник желает знать...»

В серо-зеленых сумерках парит Диана в дыхании ветра, и шелк ее прикосновений молодит лица прохожих. Рассеянно осматривает Диана свои трофеи — их не сосчитать, и в уголках ее губ таится едва заметная лукавинка.

...Диана, сбежавшая с урока математики, сутулясь от двоек и неудач, загребая худыми ногами, покорно плетется домой. Привычное зловоние мусорных баков окатывает ее презрением, и въедливым электрическим звуком встречает ее на пороге безжалостная тоска.

Но в ее волосах осталась диадема из абрикосовых лепестков. Нерастраченная юная весна бредет наугад, неуклонно скользя в нескончаемое лето.

СОДЕРЖАНИЕ

Стихотворения

Кошка хвойной, колючей породы	7
«Не щемит истаявшее сердце...»	8
«В этом доме мой давний приют...»	9
«...И я пью этот воздух...»	10
«Одинокий маленький еж...»	11
Слеток	12
Слеток. Отражение	13
«Смуглый закат ползет по щекам прохожих...»	14
«Как нотариусу поверяют тайны семейные...»	15
Зимородок	16
«Ненавижу новогодний праздник...»	18
Конопляный бог	19
Уховертка	20
«Щетиной наружу — такое нутро!..»	21
«В горклем масле лампы...»	22
«Смыкание органов говоренья...»	23
La posee	24
За стеной	25
Белые стихи о снеге	26
Шелковый тлен	28
Очарованная Лорелея	29
Дорога в Швейцарию	30
Дорога в Швейцарию II	31
Портрет	32
Отражения	33
Бессонница	34
Игра в ничью	35
Признание в любви	36
Кошке	37
Братьям по крови	38
Моему домовому	39
Ода в честь кота Эльфа	40

Сон.....	41
Плач по Иосифу	42
«Вы меня больше совсем не любите...».....	43
Осиная охота	44
Анестезия.....	45
«Обмануть Тебя? — Невозможно...».....	46
Лунная песня	47
Чужой город.....	48
Вся жизнь — рок-н-ролл.....	50
«Расцветай для новой радости...»	52

Рассказы

Асфальт	55
Трактат о человеческой силе и человеческой слабости	66
Свободный от счастья	69
«Зефир, fragile...»	75
Желаю счастья. Двери закрываются	91
«То, что никому не скажу...»	96
Девочка и лес	100
Живопись в прозе	105